

## *IV. ПИСЬМА.*

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

*С.-Петербург. Августа 9-го дня. 1838 года.*

⟨...⟩ Мне кажется, мир принял значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира. Попадись в эту картину лицо, не разделяющее ни эффекта, ни мысли с целым, словом, совсем постороннее лицо... что ж выйдет? Картина испорчена и существовать не может!

Но видеть одну жесткую оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно разбить ее и слиться с вечностию, знать и быть как последнее из созданий... ужасно! Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет! Когда я вспомню эти бурные, дикие речи, в которых звучит стенанье оцепеневшего мира, тогда ни грусть, ни ропот, ни укор не сжимают груди моей... ⟨...⟩ (Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили борьбам своим такую развязку в душе человека.) ⟨...⟩

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

*С.-Петербург. 1838 года 31 октября.*

⟨...⟩ Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает бога, след⟨овательно⟩, исполняет назначенье философии.

След⟨овательно⟩, поэтический восторг есть восторг философии... След⟨овательно⟩, философия есть та же поэзия, только высший грудус ее!.. ⟨...⟩

⟨...⟩ Я давно не испытывал взрывов вдохновенья... зато часто бываю и в таком состоянье, как, помнишь, Шильонский узник после смерти братьев в темнице... Не залетит ко мне райская птичка поэзии, не согреет охладелой души... ⟨...⟩

«...» Недавно в «Сыне отечества» я читал статью критика Низара<sup>1</sup> о Victor'e Hugo. О, как низко стоит он во мненье французов. Как ничтожно выставляет Низар его драмы и романы. Они несправедливы к нему, и Низар (хоть умный человек), а врет.— Еще: напиши мне главную мысль твоей драмы: уверен, что она прекрасна; хотя для обдумыванья драматических характеров мало 10-ти лет. Так по крайней мере я думаю. «...»

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

С.-Петербург. 1839 года, августа 16 дня.

«...» Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. «...»

«...» Мне кажется, что нет святыне самоотверженника как поэт. Как можно делиться своим восторгом с бумагой. Душа всегда затает более, нежели сколько может выразить в словах, красках или звуках. Оттого трудно исполнить идею творчества. «...»

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

С.-Петербург. 1840 года. Генваря 1-го дня.

«...» Теперь о твоих стихах: Послушай, милый брат! Я верю: в жизни человека много, много печалей, горя и — радостей. В жизни поэта это и терни и розы. Лирика — всегдашний спутник поэта; потому что он существо словесное. «...»

«...» Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с ним Шиллера, я поверял над ним и благородного, планомерного Дон Карлоса, и маркиза Позу, и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний; они горьки, брат; вот почему я ничего не говорил с тобою о Шиллере, о впечатлениях, им произведенных: мне больно, когда услышу хоть имя Шиллера. «...»

(...) я не сортировал великих поэтов, и тем более не зная их. Я никогда не делал подобных параллелей, как, например, Пушкин и Шиллер. Не знаю, с чего ты взял это; выпиши мне, пожалуйста, слова мои; а я отрекаюсь от подобной сортировки; может быть, говоря о чем-нибудь, я поставил рядом Пушкина и Шиллера, но я думаю, что между этими 2-мя словами есть залпаяя. Они никако не похожи друг на друга. Пушкин и Байрон так. Что же касается до Гомера и Victor'a Hugo, то ты, кажется, нарочно не хотел понять меня. Вот как я говорю: Гомер (баснословный человек, может быть как Христос, воплощенный богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гете. Вникни в него, брат, пойми «Илиаду», прочти ее хорошенько (ты ведь не читал ее? признайся). Ведь в «Илиаде» Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос новому. Теперь поймешь ли меня? Victor Hugo как лирик чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии, и никто не сравняется с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианск(ий) поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, я читал его сонеты на французском, ни Байрон, ни Пушкин. Только Гомер с такою же неколебимою уверенностью в призванье, с младенческим верованием в бога поэзии, которому служит он, похож в направление источника поэзии на Victor'a Hugo, но только в направление, а не в мысли, которая дана ему природою и которую он выражал; я и не говорю про это. Державин, кажется, может стоять выше их обоих в лирике. (...)

(...) говоря о форме, ты почти с ума сошел; (...) с чего ты взял сказать: нам не могут нравиться ни Расин, ни Корнель (?!!?), оттого что у них форма дурна. Жалкий ты человек! Да еще так умно говорит мне: Неужели ты думаешь, что у них нет поэзии? У Расина нет поэзии? У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Расина, у него нет поэзии? И это можно спрашивать. Да читал ли ты «Andromaque», а? брат! Читал ли ты «Iphigénie»; неужели ты скажешь, что это не прелестно. Разве Ахилл Расина не геройский? Расин и обокрал Гомера, но как обокрал! Каковы у него женщины! Пойми его. Расин не был гений; мог ли он создать драму! Он только должен подражать Корнелю. А «Phedre»? Брат! Ты бог знает что будешь, ежели не скажешь, что это не высшая, чистая природа и поэзия. Ведь это шекспировский очерк, хотя статуя из гипса, а не из мрамора.

Теперь о Корнеле? Послушай, брат. Я не знаю, как говорить

с тобою; кажется, à la Иван Никифорыч<sup>2</sup>: «гороху наевшись». Нет, не поверю, брат! Ты не читал его и оттого так промахнулся. Да знаешь ли, что он по гигантским характеристикам, духу романтизма — почти Шекспир. Бедный! У тебя на всё один отпор: «классическая форма». Бедняк, да знаешь ли, что Корнель появился только 50 лет после жалкого, бесталанного горемыки Jodel'я, с его пасквилью «Клеопатрою», после Тредьяковского Ronsard'a и после холодного рифмача Malherb'a, почти его современника. Где же ему было выдумать форму плана? Хорошо, что он ее взял у Сенеки<sup>3</sup>. Да читал ли ты его «Синна». Пред этим божественным очерком Октавия, пред которым (...)»\* Карл Мор, Фиеско, Тель, Дон Карлос. Шекспир<sup>(у)</sup> честь принесло бы это. Бедняк. Ежели ты не читал этого, то прочти, особенно разговор Августа с Cinna, где он прощает ему измену (но как прощает (?)). Увидишь, что так только говорят оскорбленные ангелы. Особенно там, где Август говорит: «Soyons amis, Cinna». Да читал ли ты «Ногасе». Разве у Гомера найдешь такие характеры. Старый Ногасе — это Диомед. Молодой Ногасе — Аякс Теламонид, но с духом Ахилла, а Куриас — это Патрокл, это Ахилл, это всё, что только может выразить грусть любви и долга. Как это велико всё. Читал ли ты «Le Cid». Прочти, жалкий человек, прочти и пади в прах перед Корнелем. Ты оскорбил его! Прочти, прочти его. Чего же требует романтизм, ежели высшие идеи его не развиты в «Cid'e». Каков характер Don Rodrigue'a, молодого сына его и его любовницы! А каков конец! (...)

Сюжет твоей драмы прелестен, видна верная мысль, и особенно то нравится мне, что твой герой, как Faust, ища беспредельного, необъятного, делается сумасшедшим именно тогда, когда он нашел это беспредельное и необъятное — когда он любим. Это прекрасно! Я рад, что тебя чему-нибудь научил Шекспир. (...)

#### М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

*(Петербург. 2-я половина января 1844 г.)*

(...) Нужно тебе знать, что на праздниках я перевел «Евгению Grandet» Бальзака (чудо! чудо!). Перевод бесподобный. (...)

\* Уголок страницы срезан.— Ред.

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

〈Петербург. Июль-август 1844 г.〉

(...) Получив «Разбойников», я тотчас же принялся за чтение; вот мое мнение о переводе: пеёни переведены бесподобно, одни песни стоят денег. Проза переведена превосходно — в отношении силы выражения и точности. Ты жалуешься на Шиллера за язык; но заметь, мой друг, что этот язык и не мог быть другим. Но я заметил, что ты слишком увлекался разговорным языком и часто, весьма часто для натуральности жертвовал правильностью русского слова. Кроме того, кой-где проскаакивают слова не русские (но не *штудировать*, не *сувенирчики* — употребление этих слов верх искусства и находчивости). Наконец, иная фраза переведена с величайшою небрежностью. Но вообще перевод удивительный в полном смысле слова. Я подчистил кое-что и приступил к делу тотчас. (...)

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

〈Петербург.〉 30 с(ентября 1844 г.)

(...) Я кончу роман<sup>4</sup> в объеме «Eugénie Grandet». Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю (...).

(...) В последнем письме Карепин ни с того ни с сего советовал мне не увлекаться Шекспиром! Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь всё равно. Мне хотелось, чтобы ты понял эту комическую черту, озаблечение на Шекспира. (...)

Я чрезвычайно доволен романом моим. Не нарадуюсь. (...)

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

〈Петербург.〉 24 марта (1845 г.)

(...) как бы то ни было, а я дал клятву, что коли и до зарезу будет доходить, — крепиться и не писать на заказ. Заказ задавит, загубит всё. Я хочу, чтобы каждое произведение мое было отчетливо хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, а оба ждут монументов. (...) Зато слава их, особенно Гоголя, была куплена годами нищеты и голода. Старые школы исчезают. Новые мажут, а не пишут. Весь талант уходит в один широкий размах, в котором видна чудовищная недоделанная идея и сила мышц размаха, а дела крошечку. Вегангер сказал про нынешних фельетонистов французских, что это

бутылка Chambertin в ведре воды. У нас им тоже подра-  
жают. (...)

Моим романом я серьезно доволен. Это вещь строгая  
и стройная. Есть, впрочем, ужасные недостатки. Печатание  
вознаградит меня. (...)

(...) Я страшно читаю, и чтение странно действует на  
меня. Что-нибудь, давно перечитанное, прочитаю вновь и как  
будто напрягусь новыми силами, вникаю во всё, отчетливо  
понимаю, и сам извлекаю умение создавать.

Писать драмы — ну, брат. На это нужны годы трудов  
и спокойствия, по крайней мере для меня. Писать ныне хо-  
рошо. Драма теперь ударила в мелодраму. Шекспир блед-  
неет в сумраке и сквозь туман слепандасов-драматургов ка-  
жется богом, как явление духа на Брокене или Гарце. Впрочем,  
летом я, может быть, буду писать. 2,3 года, и посмотрим,  
а теперь подождем!

Брат, в отношении литературы я *не тот*, что был тому  
назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изу-  
чения много принесли и много унесли.

В «Инвалиде», в фельетоне, только что прочел о немец-  
ких поэтах, умерших с голоду, холоду и в сумасшедшем  
доме. Их было штук 20, и какие имена! Мне до сих пор как-  
то страшно. Нужно быть шарлатаном...

#### М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

4 мая. 1845 год.

(...) Этот мой роман, от которого я никак не могу отвя-  
заться, задал мне такой работы, что если бы знал, так не начи-  
нал бы его совсем. Я вздумал его еще раз переправлять,  
и, ей-богу, к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл. Но уж  
теперь он кончен, и эта переправка была последняя. Я слово  
дал до него не дотрогиваться. Участь первых произведений  
всегда такова, их переправляешь до бесконечности. Я не знаю,  
была ли «Atala» Chateaubriant'а его первым произведением,  
но он, помнится, переправлял ее 17 раз. Пушкин делал такие  
переправки даже с мелкими стихотворениями. Гоголь лощит  
свои чудные создания по два года, а если ты читал «Voyage  
Sentimental» Stern'a — крошечную книжечку, то ты помнишь,  
что Valter Scott в своем «Notice» о Стерне говорил, ссылаясь  
на авторитет Лафлёра, слуги Стерна. Лафлёр говорил, что  
барин его исписал чуть ли не сотню листов бумаги о своем  
путешествии во Францию. Ну, спрашивается, куда это пошло?

Все-то это составило книжоночку, которую хороший писака, как Плюшкин и *апример*, уместил бы на полудести. Не понимаю, каким образом этот самый Вальтер Скотт мог в несколько недель написать такие, вполне оконченные создания, как «Маннеринг», например! Может быть, оттого, что ему было 40 лет. (...)

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

*(Петербург. Начало сентября 1845 г.)*

(...) Что-то скажет будущность. Как жаль, что нужно работать, чтобы жить. Моя работа не терпит принуждения. (...)

(...) Я теперь настоящий Голядкин<sup>5</sup>, которым я, между прочим, займусь завтра же. (...)

Голядкин выиграл от моего сплана. Родились две мысли и одно новое положение. (...)

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

*(Петербург.) 1 февраля (1846 г.)*

(...) «Бедные люди» вышли еще 15-го. Ну, брат! Какою ожесточенною бранью встретили их везде! В «Иллюстрации» я читал не критику, а ругательство. В «Северной пчеле» было черт знает что такое. Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина (...) Ругают, ругают, ругают, а все-таки читают. (...) (...) Так было и с Гоголем. Ругали, ругали его, ругали — ругали, а все-таки читали и теперь помирились с ним и стали хвалить. Сунул же я им всем собачью кость! (...)

В публике нашей есть инстинкт, как во всякой толпе, но нет образованности. Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может. Роман находят растигнутым, а в нем слова лишнего нет. Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я. Прочтешь и сам увидишь. (...)

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

〈Петербург.〉 1 апреля 1846

(...) Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои со-  
перники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер)  
и Гончаров. 1-й печатался, второй начинающий и не печа-  
тавшийся нигде. Их ужасно хвалят. Первенство остается за  
мною покамест и надеюсь, что навсегда. Вообще никогда так  
не закипала литература, как теперь. Это к лучшему. (...)

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

〈Петербург.〉 Петропавловская крепость. 22 декабря (1849 г.)

(...) Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю,  
через 4-ре года будет возможно. Я перешлю тебе все, что  
напишу, если что-нибудь напишу. Боже мой! Сколько образов,  
выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей го-  
лове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя писать,  
я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо  
в руках. (...)

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

〈Омск. 30 января — 22 февраля 1854 г.〉

(...) Сколько я вынес из каторги народных типов, харак-  
теров! Я сжался с ними и потому, кажется, знаю их порядоч-  
но. Сколько историй бродят и разбойник(ов) и вообще всего  
черного, горемычного быта! На целые томы достанет. Что за  
чудный народ. Вообще время для меня не потеряно. Если  
я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо,  
как, может быть, не многие знают его. Но это мое маленькое  
самолюбие! Надеюсь,простительно. (...)

А. Н. МАЙКОВУ

Семипалатинск. 18 января (18)56.

(...) Читал Ваши стихи и нашел их прекрасными; вполне  
разделяю с Вами патриотическое чувство нравственного осво-  
бождения славян. Это роль России, благородной, великой Рос-  
сии, святой нашей матери. Как хорошо окончание, последние  
строки в Вашем «Клермонтском соборе»! Где Вы взяли такой

язык, чтоб выразить так великолепно такую огромную мысль? Да! разделяю с Вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия. (...) Я работал; но я отложил мое главное произведение в сторону. Нужно более спокойствия духа. (...) Вы пишете мне кое-что о литературе. За нынешний год я почти ничего не читал. Скажу Вам и свои наблюдения: Тургенев мне нравится наиболее — жаль только, что при огромном таланте в нем много невыдержанности. Л. Т.<sup>6</sup> мне очень нравится, но, по моему мнению, много не напишет (впрочем, может быть, я ошибаюсь). Островского совсем не знаю, ничего не читал в целом, но читал много отрывков в разборах о нем. Он, может быть, знает известный класс Руси хорошо, но, мне кажется, он не художник. К тому же, мне кажется, он *поэт без идеала*. Разуверьте меня, пожалуйста, пришлите мне, ради бога, что получше из его сочинений, чтоб я мог знать его не по одним критикам. Писемского я читал «Фанфарон» и «Богатый жених», — больше ничего. Он мне очень нравится. Он умен, добродушен и даже наивен; рассказывает хорошо. Но одно в нем грустно: спешит писать. Слишком скоро и много пишет. Нужно иметь побольше самолюбия, побольше уважения к своему таланту и к искусству, больше любви к искусству. Идеи смолоду так и льются, не всякую же подхватывать на лету и тотчас высказывать, спешить высказываться. Лучше подождать побольше синтезу-с; побольше думать, подождать, пока многое мелкое, выражющее одну идею, соберется в одно большое, в один крупный, рельефный образ, и тогда выражать его. Колossalные характеры, создаваемые колossalными писателями, часто создавались и вырабатывались долго и упорно. Не выражать же все промежуточные пробы и эскизы? (...) Что же касается до Писемского, то, мне кажется, он мало сдерживает перо. Наши дамы-писательницы пишут как дамы-писательницы, то есть умно, мило и чрезвычайно спешат высказываться. Скажите, почему дама-писательница почти никогда не бывает строгим художником? Даже несомненный, колоссальный художник George Sand не раз вредила себе своими дамскими свойствами. (...)

Э. И. ТОТЛЕБЕНУ

⟨Семипалатинск. 24 марта 1856 г.⟩

(...) Звание писателя я всегда считал благороднейшим, полезнейшим званием. (...)

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Семипалатинск, 9 ноября, 1856.

(...) Я думаю, я бы сказал, кое-что даже и замечательного об искусстве, вся статья в голове моей и на бумаге в виде заметок, но роман мой влек меня к себе. Это сочинение очень большое. Роман комический<sup>7</sup>, началось с щуточного и составилось то, чем я доволен. Будут очень и очень хорошие вещи в нем. Ради бога, не сочти меня хвастуном. Нет человека справедливее и строже меня к самому себе в этом отношении, и если б знали то мои бывшие критики! (...)

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Семипалатинск ноября 3, 1857 г.

(...) Что же касается до моего романа, то со мной и с ним случилась история неприятная, и вот отчего: я положил и поклялся, что теперь ничего необдуманного, ничего незрелого, ничего на срок (как прежде) из-за денег не напечатаю, что художественным произведением шутить нельзя, что надобно работать честно и что если я напишу дурно, что, вероятно, и случится много раз, то потому, что талантишка нет, а не от небрежности и легкомыслия. Вот почему, видя, что мой роман принимает размеры огромные, что сложился он превосходно, а надобно, непременно надобно (для денег) кончать его скоро,— я призадумался. Ничего нет грустнее этого раздумья во время работы. Охота, воля, энергия — все гаснет. Я увидел себя в необходимости испортить мысль, которую три года обдумывал,— к которой собрал бездну материалов (с которыми даже и неправляюсь — так их много) и которую уже отчасти исполнил, записав бездну отдельных сцен и глав. Более половины работы было готово вчера. Но я видел, что я не кончу и половины к тому сроку, когда мне деньги будут нужны до зарезу. Я было думал (и уверил себя), что можно писать и печатать по частям, ибо каждая часть имела вид отдельности, но сомнение всё более меня мучило. Я давно положил за правило, что если закрадывается сомнение, то бросать работу, потому что работа, при сомнении, никуда не годится. Но жаль было бросать. Твое письмо, в котором ты говоришь, что по частям никто не возьмет, заставило меня окончательно бросить работу. Два соображения были тому причиною. «Что же будет? — думал я,— или писать хорошо, но тогда я и через

год не получу денег, потому труд мой бесполезен, или кончать как-нибудь и испортить всё, то есть поступить бесчестно; да и не в силах я был это сделать». И потому весь роман, со всеми материалами, сложен теперь в ящик. (...)

М. Н. КАТКОВУ

*(Семипалатинск, 11 января 1858 г.)*

(...) работа для денег и работа для искусства — для меня две вещи несовместимые. Все три года моей давнишней литературной деятельности в Петербурге я страдал через это. Лучшие идеи мои, лучшие планы повестей и романов я не хотел профанировать, работая поспешно и к сроку. Я так их любил, так желал создать их не накоротко, а с любовью, что, мне кажется, скорее бы умер, чем решился бы поступать с своими лучшими идеями не честно. (...)

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

*Семипалатинск. 31 мая 1858 года.*

(...) Роман же я отложил писать до возвращения в Россию. Это я сделал по необходимости. В нем идея довольно счастливая, характер новый, еще нигде не являвшийся. Но так как этот характер, вероятно, теперь в России в большом ходу, в действительной жизни, особенно теперь, судя по движению и идеям, которыми все полны, то я уверен, что я обогащу мой роман новыми наблюдениями, возвратясь в Россию. Торопиться, милый друг мой, не надо, а надо стараться сделать хорошо. (...) Но что у тебя за теория, друг мой, что картина должна быть написана сразу и проч. и проч.? Когда ты в этом убедился? Поверь, что везде нужен труд, и огромный. Поверь, что легкое, изящное стихотворение Пушкина, в несколько строчек, потому и кажется написанным сразу, что оно слишком долго kleilosъ и перемарывалось у Пушкина. Это факты. Гоголь восемь лет писал «Мертвые души». Все, что написано сразу,— все было чрезвычайно. У Шекспира, говорят, не было помарок в рукописях. Оттого-то у него так много чудовищностей и безвкусия, а работал бы — так было бы лучше. Ты явно смешиваешь вдохновение, то есть первое, мгновенное создание картины или движения в душе (что всегда так и делается), с работой. Я, наприм<sup>ер</sup>, сцену тотчас же и записываю, так, как она явилась впервые, и рад ей; но

потом целые месяцы, год обрабатываю ее, вдохновляюсь ею по *несколько раз*, а не один (потому что люблю эту сцену) и несколько раз прибавлю к ней или убавлю что-нибудь, как уже и было у меня, и поверь, что выходило гораздо лучше. Было бы вдохновение. Без вдохновения, конечно, ничего не будет.

Правда, у вас теперь дают большую плату. Значит, Писемский получил за «1000 душ» 200 или 250 руб. с листа. Этак можно жить и работать, не торопясь. Но неужели ты считаешь роман Писемского прекрасным? Это только посредственность, и хотя золотая, но только все-таки посредственность. Есть ли хоть один новый характер, *созданный*, никогда не явившийся? Все это уже было и явилось давно у наших писателей-новаторов, особенно у Гоголя. Это все старые темы на новый лад. Превосходная клейка по чужим образцам, Сазиковская работа по рисункам Бенвенуто Челлини. Правда, я прочел только две части; журналы поздно доходят к нам. <...>

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Семипалатинск. 13 сентября (18)58 г.

<...> Твоя газета, о которой ты мне писал, вещь премилая. У меня давно уже вертелась в голове мысль о подобном издании, но только чисто литературной газеты. Главное: литературный фельетон, разборы журналов, разборы хорошего и ошибок, вражда к *кумовству*, так теперь распространившемуся, больше энергии, жару, остроумия, стойкости — вот чего теперь надо! Я потому так горячо говорю это, что у меня записано и набросано несколько литературных статей в этом роде: наприм*(ер)*, о *современных поэтах*, о *статистическом направлении литературы*, о бесполезности *направлений* в искусстве,— статьи, которые писаны задорно и даже остро, а главное, легко. Но только вот что: неужели ты будешь издавать газету? Ведь это дело нелегкое при фабрике-то? Смотри, брат. <...>

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Семипалатинск. 13 декабря (18)58 г.

<...> Уведомил я тебя в октябре, что 8-го ноября непременно вышлю тебе повесть. Но вот уже декабрь, а моя повесть не кончена. Многие причины помешали. И болезненное состояние, и нерасположение духа, и провинциальное отупление,

а главное, отвращение от самой повести. Не нравится мне она, и грустно мне, что принужден вновь являться в публику так не хорошо. Грустнее всего то, что я *принужден* так являться. Есть и у меня в голове (и частично на бумаге) вещи, которыми я очень дорожу и которые, право, сразу бы мне составили имя. Но что делать. Это мой большой роман, который я, по разным обстоятельствам, не могу здесь писать, да и не хочу писать на заказ. Хочется оставить по себе хоть одно произведение безукоризненное. Но что делать? Нельзя то писать, что хочется писать, а пиши то, о чем, если б не надобны деньги, и думать бы не захотел. И для денег я должен *нарочно выдумывать* повести. А ведь это ух как тяжело! Скверное ремесло бедного литератора. <...>

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Тверь, 1 октября (18)59.

<...> к половине декабря я пришлю тебе (или привезу сам) исправленного «Двойника». Поверь, брат, что это исправление, снабженное предисловием, будет стоить *нового романа*. Они увидят наконец, что такое «Двойник»! Я надеюсь слишком даже заинтересовать. Одним словом, я вызываю всех на бой (и наконец, если я теперь не поправлю «Двойника», то когда же я его поправлю? Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип, по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником?). <...>

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Тверь, 9 октября (18)59.

<...> Эти «Записки из Мертвого дома» приняли теперь, в голове моей, план полный и определенный. Это будет книжка листов в 6 или 7 печатных. Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного; но за интерес я ручаюсь. Интерес будет наикапитальнейший. Там будет и серьезное, и мрачное, и юмористическое, и народный разговор с особенным катаржным оттенком (я тебе читал некоторые, из записанных мною на месте, выражений), и изображение личностей, никогда не слыханных в литературе, и трогательное, и, наконец, главное,— мое имя. <...>

Ф. Н. БЕРГУ

(Петербург.) Июля 12/(18)61.

(...) Основная мысль Вашей статьи прекрасная, и мы с ней совершенно согласны. Но ведь из нее невозможно не выпустить, во-1-х) всего, что говорится в ней о Григорьеве. Согласитесь, журнал не может себе противоречить. 2) Обо мне, хоть бы Вы меня бог знает как хвалили; хвалить себя в своем журнале нельзя. (...)

Вчера слышал чтение Вашего стихотворения. Что за прелест! Это решительно Ваше лучшее и ко многому применимо. Вот бы Вам побольше писать на эти темы. Потому и говорю Вам о *темах*, что вижу, как с ними согласуется Ваше вдохновение. Сколько припомню, в этом роде я еще ничего не читал Вашего. Одну только строчку, по-моему, надо изменить:

Молчит бессмысленный народ.

Это как будто Пушкина «Молчи, бессмысленный народ» и в смысле *модном*, то есть в смысле враждебном Пушкину. Разумеется, Вы бы не написали ничего сами в смысле враждебном Пушкину, но другие-то, пожалуй, так примут и поймут. Мы думаем изменить; я предлагаю сказать «Молчит униженный народ», а брат «Молчит подавленный народ». Мне кажется, что *униженный* сильнее и заключает в себе смысл и «подавленного». (...)

А. Н. ОСТРОВСКОМУ

(Петербург. 24 августа 1861 г.)

(...) Вашего несравненного Бальзаминова<sup>8</sup> я имел удовольствие получить третьего дня, и тотчас же мы, я и брат, стали читать его. Было и еще несколько слушателей — не столько литераторов, сколько людей со вкусом неиспорченным. Мы все хотели так, что заболели бока. Что сказать Вам о Ваших «Сценах»? Вы требуете моего мнения совершенно искреннего и бесцеремонного. Одно могу отвечать: прелест. Уголок Москвы, на который Вы взглянули, передан так типично, что будто сам сидел и разговаривал с Белотеловой. Вообще эта Белотелова, девицы, сваха, маменька и, наконец, сам герой — это до того живо и, действительно, до того целая картина, что теперь, кажется, у меня она ввек не потускнеет в уме. Капитан только у Вас вышел как-то частнолицый. Только верен

действительности, и не больше. Может быть, я не разглядел с первого чтения. Разумеется, я Вашу комедию прочту еще пять раз. Но из всех Ваших свах — Красавина должна занять первое место. Я ее видал тысячу раз, я с ней был знаком, она ходила к нам в дом, когда я жил в Москве, лет 10-ти от роду; я ее помню.

Кстати: некоторые из слушателей и из слушательниц Вашей комедии уже ввели Белотелову в нарицательное имя. Уже указывают на Белотелову и отыскивают в своей памяти девиц Пеженовых. <...>

#### Н. Н. СТРАХОВУ

*(Париж.) 26 июня / 8 июля / (18)62.*

<...> Голубчик Николай Николаевич, пора теперь скверная, как Вы пишете, — пора томительного и тоскливого ожидания. Но ведь журнал дело великое; это такая деятельность, которою нельзя рисковать, потому что, во что бы ни стало, журналы как выражение всех оттенков современных мнений должны остаться. А деятельность, то есть что именно делать, о чем говорить и что писать, — всегда найдется. Господи! как подумаешь, сколько еще не сделано и не сказано, и потому сижу здесь и рвусь отсюда, из так называемого прекрасного далека, хоть не телом, так духом к Вам, в Россию. Всякий, всякий должен делать теперь и, главное, попасть на здравый смысл. Слишком у нас перепутались в обществе понятия. Недоумение наступило какое-то. <...>

#### Н. Н. СТРАХОВУ

*Рим 18 (30) сентября (1863 г.)*

<...> Я литератор-пролетарий, и если кто захочет моей работы, то должен меня вперед обеспечить. Порядок этот я сам проклинаю. Но так завелось и, кажется, никогда не выведется. Но продолжаю:

Теперь готового у меня нет ничего. Но составился довольно счастливый (как сам сужу) план одного рассказа<sup>9</sup>. Большею частью он записан на клочках. Я было даже начал писать, — но невозможно здесь. <...>

Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русского. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос летом в журналах. Все это отразится в моем рассказе. Да

и вообще отразится вся современная минута (по возможности, разумеется) нашей внутренней жизни. Я беру натуру непосредственную, человека, однако же, многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и *не смеющего не верить*, восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокаивает себя тем, что ему *ничего делать* в России, и потому жестокая критика на людей, зовущих из России наших заграничных русских. Но всего не расскажешь. Это лицо живое (весь как будто стоит передо мной) — и его надо прочесть, когда он напишется. Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость пошли *на рулетку*. Он — игрок, и не простой игрок, так же как скопой рыцарь Пушкина не простой скупец. Это вовсе не сравнение меня с Пушкиным. Говорю лишь для ясности. Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность *риска* и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ — рассказ о том, как он третий год играет по игорным городам на рулетке.

Если «Мертвый дом» обратил на себя внимание публики как изображение каторжных, которых никто не изображал *наглядно* до «Мертвого дома», то этот рассказ обратит неминимо на себя внимание как **НАГЛЯДНОЕ** и подробнейшее изображение рулеточной игры. (...)

(...) Вещь может быть весьма недурная. Ведь был же любопытен «Мертвый дом». А это описание своего рода ада, своего рода каторжной «бани». (...)

И. С. ТУРГЕНЕВУ

Турик, 18 октября/(18)63.

(...) В Петербурге ждет меня тяжелая работа. (...) Журнал надо будет создавать почти вновь. Надо сделать его современное, интереснее и в то же время уважать литературу — задачи, которые несовместимы, по убеждениям многих петербургских мыслителей. Но с начищающимся презрением к литературе мы намерены горячо бороться. Авось не отстанем. Поддержите же нас, пожалуйста, будьте с нами. (...)

И. С. ТУРГЕНЕВУ

Петербург, 23 декабря/(18)63.

Любезнейший и многоуважаемый Иван Сергеевич, П. В. Анненков говорил брату, что Вы будто не хотите печатать «Приз-

раки» потому, что в этом рассказе много фантастического. Это нас ужасно смущает. (...)

(...) Почему Вы думаете, Иван Сергеевич (если только Вы так думаете), что Ваши «Призраки» теперь не ко времени и что их не поймут? Напротив, бездарность, 6 лет сряду подражавшая мастерам, до такой пошлости довела положительное, что произведению чисто поэтическому (наиболее поэтическому) даже были бы рады. Встретят многие с некоторым недоумением, но с недоумением приятным. Так будет со всеми понимающими кое-что, и из старого и из нового поколения. Что же касается из ничегонепонимающих, то ведь неужели ж смотреть на них? Вы не поверите, как они сами-то смотрят на литературу. Ограниченная утилитарность — вот всё, чего они требуют. Напишите им самое поэтическое произведение; они его отложат и возьмут то, где описано, что кого-нибудь секут. *Поэтическая правда* считается дичью. Надо только одно копированное с действительного факта. Проза у нас страшная. *Квакерство*. После этого и на них смотреть нечего. Здоровая часть общества, которая просыпается, жаждет смелой выходки от искусства. А Ваши «Призраки» довольно смелая выходка, и превосходный будет пример (для всех нас), если Вы, первый, осмелитесь на такую выходку. Форма «Призраков» всех изумит. А реальная их сторона даст выход всякому изумлению (кроме изумления дураков и тех, которые, кроме своего квакерства, не желают ничего понимать). Я, впрочем, знаю пример одной утилитарности (*нигилизма*), которая хоть и осталась Вашей повестью недовольна, но сказала, что оторваться нельзя, что впечатление сильное производит. Ведь у нас чрезвычайно много напускных нигилистов. Но тут главное — понять эту реальную сторону. По-моему, в «Призраках» слишком много реального. Это реальное — есть *тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше время*, уловленная тоска. Этой тоской наполнены все «Призраки». Это «струна звенит в тумане», и хорошо делает, что звенит. «Призраки» похожи на музыку. А кстати: как смотрите Вы на музыку? Как на наслаждение или как на необходимость положительную? По-моему, это тот же язык, но высказывающий то, что сознание еще не одолело (не рассудочность, а всё сознание), а след(овательно), приносящий положительную пользу. Наши утилитаристы этого не поймут; но те из них, которые любят музыку, ее не бросили и занимаются у нас ею по-прежнему.

Форма Ваших «Призраков» превосходна. Ведь если в чем-нибудь тут сомневаться, так это, конечно, в форме. Итак, все дело будет состоять в вопросе: имеет ли право фантастическое

существовать в искусстве? Ну кто же отвечает на подобные вопросы! Если что в «Призраках» и можно бы покритиковать, так это то, что они *не совсем вполне* фантастичны. Еще бы больше надо. Тогда бы *смелости* больше было. У Вас являющееся существо объяснено как упры. По-моему бы, не надо этого объяснения. Анненков не согласился со мной и представил доводы, что здесь намекается на потерю крови, то есть *положительных сил*, и т. д. А я тоже с ним не согласен. Мне довольно, что я уж слишком осозательно понял тоску и прекрасную форму, в которую она вылилась, то есть брожением по всей действительности *без всякого облегчения*. И тон хорош, тон какой-то нежной грусти, без особой злости. Картины же, как утес и проч.— намеки на стихийную, еще неразрешенную мысль (ту самую мысль, которая есть во всей природе), которая неизвестно, разрешит ли когда людские вопросы, но теперь от нее только сердце тоскует и пугается еще более, хоть и оторваться от нее не хочется. Нет-с, такая мысль именно ко времени и этакие фантастические вещи *весьма положительны*.

М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Москва. 19 апреля/ (18)64.

⟨...⟩ повесть растягивается; очень может быть, что выйдет эффектно; работаю я изо всех сил, но медленно подвигаюсь, потому что все время мое поневоле другим занято. Повесть разделяется на 3 главы, из коих каждая не менее  $1\frac{1}{2}$  печатных листов. 2-я глава находится в хаосе, 3-я еще не начинилась, а 1-я обделывается. В 1-й главе может быть листа  $1\frac{1}{2}$ , может быть обделана вся дней через 5. Неужели ее печатать отдельно? Над ней насмеются, тем более, что без остальных 2-х (главных) она теряет весь свой сок. Ты понимаешь, что такое *переход* в музыке. Точно так и тут. В 1-й главе, по-видимому, болтовня; но вдруг эта болтовня в последних 2-х главах разрешается неожиданной катастрофой. ⟨...⟩

Ф. А. БУРДИНУ

(Петербург. 20-е числа октября 1864 г.)

⟨...⟩ Прежде всего я прошу Вас, милостивый государь, оставить меня в покое и отнюдь не вмешивать меня в Ваши неудовольствия с Вашими критиками. ⟨...⟩

Напрасно Вы трудились описывать мне историю сношений Ваших с покойным Аполлоном Александровичем Григорьевым. Вы, очевидно, надеялись вразумить меня в том, что все неодобрительные о Вас отзывы, напечатанные им о Вашей игре, были делом личного какого-то мщения. Обращались же Вы ко мне как к редактору журнала «Эпоха». (...) (...) ни одной статьи, из тех, которые я рассматриваю, я не пропускаю без моей редакции и ни за что на свете не пропущу личность, клевету, интригу. Если же я пропускал неодобрительные отзывы о Вашем таланте, то единственno потому, что с этими отзывами я был сам согласен. (...) Все, что писалось, относилось только к Вашему дарованию, но отнюдь не к Вашему лицу. Об Вас как о человеке не говорилось ни слова. (...) Насмешки действительно были, но только над игрой Вашей. На это Вы претендовать не можете. Вы сами, своею волею, выходите на сцену перед публикой, которая платит деньги. С той минуты, как Вы вышли на сцену, Вы уже подвергаетесь и публичному суду относительно исполнения Ваших ролей.

Извините меня, милостивый государь, если я Вам замечу, что Вы принадлежите к тому разряду артистов, которые до того слишком уважают себя и ценят свои таланты и до того щекотливы, что почти всякое замечание, клонящееся не к прямому обожанию их артистических достоинств, считают за личную себе обиду. Вспомните, милостивый государь, что и Пушкин и Гоголь подвергались критике и хуле. Повторю, — не знаю я никаких Ваших закулисных дел ни с Ап(оллоном) Григорьевым, ни с кем бы то ни было; но знаю наверно, что все писанное ими о Вас совершенно совпадало с мнением редакции «Эпохи». (...)

Равномерно, ни за что не могу я смешать талант и старательное исполнение обязанностей. Последнее, конечно, очень поквалько, но все-таки не составляет таланта и не выкупает его недостатков.

Поверьте тоже, что всякий Ваш успех, всякое действительное проявление Вашего дарования мы встретим в нашем журнале с радостью. Я твердо убежден, что такие роли в Вашем репертуаре существуют, и искренне желаю Вам полнейшего достижения цели. Искусство, которому Вы служите, — высокое и благородное искусство. Но оно — трудное, очень трудное искусство и даже избранийшим талантам, даже гениям не дается даром. Смотреть на него свысока, пренебрегать критикой, слушать только одних льстецов, отвергать советы, надеясь на одни свои силы, — слишком опасно. (...)

А. В. КОРВИН-КРУКОВСКОЙ

(Петербург. 14 декабря 1864 г.)

(...) величайшее умение писателя, это — уметь вычеркивать. Кто умеет и кто в силах свое вычеркивать, тот далеко пойдет. Все великие писатели писали чрезвычайно сжато. А главное — не повторять уже сказанного или и без того всем понятного. (...)

Вам не только можно, но и должно смотреть на свои способности серьезно. Вы — поэт. Это уже одно многое стоит, а если при этом талант и взгляд, то нельзя пренебрегать собою. Одно — учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное.

Да еще надобно верить. Без этого ничего не будет.

Идеал Ваш проглянул недурно, хоть и отрицательно. Михаил, который не может по натуре (то есть бессознательно) помириться с чем-нибудь, что ниже идеала, — идея глубокая и сильная. (...)

И. С. ТУРГЕНЕВУ

(Петербург.) Февраля 13-го/ (18)65.

(...) Вы писали мне, что удивляетесь моей смелости в наше время начинать журнал. Наше время можно характеризовать словами: что в нем, особенно в литературе — нет никакого мнения; все мнения допускаются, все живет одно с другим рядом; общего мнения, общей веры нету. Кому есть что сказать и кто (думает по крайней мере) что знает, во что зерить, тому грех, по-моему, не говорить. Насчет же смелости — отчего не сметь, когда все говорят всё, что им вздумается, когда самое дикое мнение имеет право гражданства? Впрочем, что говорить об этом. Вот приезжайте-ка, да поприсмотритесь на месте к нашей литературе — сами увидите.

В последнее время было, впрочем, несколько литературных явлений, несколько замечательных.

3-го дня вышел 1-й номер «Современника» с «Воеводой (Сон на Волге)» Островского. Не знаю, что такое; еще не читал, за корректурами сидел; одни говорят, что это лучшее, что написал Островский, другие не знают, что сказать. (...)

М. Н. КАТКОВУ

(Висбаден. 10(22)---15(27) сентября 1865 г.)

Черновое

Могу ли я надеяться поместить в Вашем журнале «Русский» в *«естник»* мою повесть<sup>10</sup>? (...)

Идея повести, сколько я могу предполагать, не могла бы ни в чем противоречить Вашему журналу; даже напротив. Это — психологический отчет одного преступления.

Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению, и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях поддавшись некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решил убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берет жидовские проценты, зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. «Она никуда не годна», «для чего она живет?», «Полезна ли она хоть комунибудь?» и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать; с тем, чтобы сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонах у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства — притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству», чем, уже конечно, «загладится преступление», если только может называться преступлением этот поступок над старухой глухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает, для чего живет на свете, и которая через месяц, может, сама собой померла бы.

Несмотря на то, что подобные преступления ужасно трудно совершаются — то есть почти всегда до грубости выставляют наружу концы, улики и проч. и страшно много оставляют на долю случая, который всегда почти выдает виновных, ему — совершенно случайным образом удается совершить свое предприятие и скоро и удачно.

Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы. Никаких на них подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею,

неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он — кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое (...). Преступник сам решает принять муки, чтоб искупить свое дело. Впрочем, трудно мне разъяснить вполне мою мысль. (...)

В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическ(ое) наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели, отчасти и потому, что он и сам нравственно требует.

Это видел я даже на самых неразвитых людях, на самой грубой случайности. Выразить мне это хотелось именно на развитом, на нового поколения человеке, чтоб была ярче и осознательнее видна мысль. Несколько случаев, бывших в самое последнее время, убедили, что сюжет мой вовсе не эксцентричен. Именно, что убийца развитой и даже хороши<sup>их</sup> наклонностей младой человек. Мне рассказывали прошлого года в Москве (верно) об одном студенте, выключенном из университета после московской истории — что он решил разбить почту и убить почтальона. Есть еще много следов в наших газетах о необыкновенной шатости понятий, подвигающих на ужасные дела. (Тот семинарист, который убил девушку поговору с ней в сарае и которого взяли через час за завтраком, и проч.) Одним словом, я убежден, что сюжет мой отчасти оправдывает современность.

Само собою разумеется, что я пропустил в этом теперешнем изложении идеи моей повести — весь сюжет. За занимательность ручаюсь, о художественном исполнении — не беру на себя судить. Мне слишком много случалось писать очень, очень дурных вещей, торопясь, к сроку и проч. Впрочем, эту же вещь я писал неторопливо и с жаром. Постараюсь, хотя бы для себя только, кончить ее как можно лучше. (...)

#### А. Е. ВРАНГЕЛЬЮ

Петербург 18 февраля / 18 66.

(...) сижу над работой как каторжник. Это тот роман в «Русский вестник». Роман большой в 6 частей. В конце ноября было много написано и готово; я всё сжег; теперь в этом можно признаться. Мне не понравилось самому. Новая фор-

ма, новый план меня увлек, и я начал съезнова. Работаю я дни и ночи, и все-таки работаю мало. По расчету выходит, что каждый месяц мне надо доставить в «Русский вестник» до 6-ти печатных листов. Это ужасно; но я бы доставил, если бы была свобода духа. Роман есть дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и воображения. А меня мучат кредиторы, то есть грозят посадить в тюрьму. До сих пор не уладил с ними, и еще не знаю наверно — уложу ли? — хотя многие из них благоразумны и принимают предложение мое рассрочить им уплату на 5 лет; но с некоторыми не мог еще до сих пор сладить. Поймите, каково мое беспокойство. Это надрывает дух и сердце, расстроивает на несколько дней, а тут садись и пиши. Иногда это невозможно. Вот почему и трудно найти минуту спокойную, чтоб поговорить с старым другом. (...)

(...) Если бог поможет, что роман этот может быть великолепнейшою вещью. (...) Недели две тому назад вышла первая часть моего романа в первой январской книге «Русского вестника». Называется «Преступление и наказание». Я уже слышал много восторженных отзывов. Там есть смелые и новые вещи. Как жаль мне, что я Вам не могу послать! Неужели у Вас никто не получает «Русского вестника»? (...)

(...) Кстати, я очень рад, что Вас так интересует наша внутренняя, русская умственная и гражданская жизнь. Мне, как другу, очень приятно, что Вы такой, хотя не во всем с Вами согласен. На многое смотрите Вы несколько исключительно. Не черпаете ли Вы известия из иностранных газет? Там систематически искажают всё, что касается России. Но это обширный вопрос. По-моему, живя за границей, действительно подпадаешь под влияние иностранной прессы. Я это даже на себе испытал. (...)

#### A. B. КОРВИН-КРУКОВСКОЙ

Москва 17-го июня / 18) 66.

(...) Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь: написать в 4 месяца 30 печатных листов, в двух разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером, и кончить к сроку. Знаете ли, добрая моя Анна Васильевна, что до сих пор мне вот этакие эксцентрические и чрезвычайные вещи даже нравятся. Не гожусь я в разряд солидно живущих людей. Простите, похвастался! Но что ж мне и осталось более, как не похвастаться; остальное-то ведь уж очень не завлекательно. Но какова же литература-то? Я убежден, что ни

единий из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу, Тургенев умер бы от одной мысли. Но если б Вы знали, до какой степени тяжело портить мысль, которая в вас рождалась, приводила вас в энтузиазм, про которую вы сами знаете, что она хороша,— и быть принужденным портить ее сознательно. (...)

А. П. МИЛОКОВУ

(Люблино. 10—15 июля 1866 г.)

(...) в расчете Любимова (оказалось впоследствии) была еще и другая, весьма коварная для меня мысль, а именно: что одну из этих, сданных мною 4-х глав,— нельзя напечатать, что и решено было им, Любимовым, и утверждено Катковым. Я с ними с обоими объяснялся — стоят на своем! Про главу эту я ничего не умею сам сказать; я написал ее в вдохновении настоящем, но, может быть, она и скверная; но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасении за нравственность. В этом я был прав,— ничего не было против нравственности и даже чрезмерно напротив, но они видят другое и, кроме того, видят следы нигилизма. Любимов объявил решительно, что надо переделать. Я взял, и эта переделка большой главы стоила мне, по крайней мере, 3-х новых глав работы, судя по труду и тоске, но я переправил и сдал. Но вот беда! Не видал Любимова потом и не знаю: удовольствуются ли они переделкою и не переделают ли сами? То же было и еще с одной главой (из этих 4), где Любимов объявил мне, что много выпустил (хотя я за это и не очень стою, потому что выпустили место неважное).

Не знаю, что будет далее,— но эта, начинающая обнаруживаться с течением романа противоположность взглядов с редакцией начинает меня очень беспокоить. (...)

А. Н. МАЙКОВУ

Женева 28 / 16 (августа 18) 67 года

(...) возьмите еще в соображение, что я, потеряв Вас, попал еще, сверх того, на чужую сторону, где нет не только русского лица, русских книг и русских мыслей и забот, но даже приветливого лица нет! Право, я даже не понимаю, как может заграниценный русский человек, если только у него есть чувство и смысл, этого не заметить и больно не прочувствовать. Может

быть, эти лица и приветливы для себя, но нам-то кажется, что для нас нет. Право так! И как можно выживать жизнь за границей? Без родины — страдание, ей богу! Ехать хоть на полгода, хоть на год — хорошо. Но ехать так, как я, не зная и не ведая, когда ворочусь, — очень дурно и тяжело. От идеи тяжело. А мне Россия нужна, для моего писания и труда нужна (не говорю уже об остальной жизни), да и как еще! Точно рыба без воды; сил и средств лишаешься. (...)

Гончаров все мне говорил о Тургеневе, так что я, хотя и откладывал заходить к Тургеневу, решился наконец ему сделать визит. (...) его книга «Дым» меня раздражила. Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе: «Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». Он объявил мне, что это его основное убеждение о России. Нашел я его страшно раздраженным неудачею «Дыма». (...)

А. Н. МАЙКОВУ

Женева 12 янв (апр) 1867.  
31 декабря

(...) А со мной было вот что: работал и мучился. Вы знаете, что такое значит сочинять? Нет, слава богу, вы этого не знаете! Вы на заказ и на аршины, кажется, не писывали и не испытывали адского мучения. Забрав столько денег в «Русском вестнике» (ужас! 4500 р.), я ведь с начала года вполне надеялся, что поэзия не оставит меня, что поэтическая мысль мелькнет и развернется художественно к концу-то года и что я успею удовлетворить всех. Это тем более казалось мне вероятнее, что и всегда в голове и в душе у меня мелькает и дает себя чувствовать много зачатий художественных мыслей. Но ведь только мелькает, а нужно полное воплощение, которое всегда происходит нечаянно и вдруг, но рассчитывать нельзя, когда именно оно произойдет; и затем уже, получив в сердце полный образ, можно приступить к художественному выполнению. Тут уже можно даже и рассчитывать без ошибки. Ну-с: всё лето и всю осень я компоновал разные мысли (бывали иные презатейливые), но некоторая опытность давала мне всегда предчувствовать или фальшивь, или трудность, или маловыжитость иной идеи. Наконец я остановился на одной и начал работать, написал много, но 4-го декабря иностранного стиля бросил все к черту. Уверяю вас, что роман мог бы быть посредствен; но опротивел он мне до невероятности именно тем, что посредствен, а не положительно хорош. Мне этого не надо было. (...)

«...» Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная и я к ней не подготовлен, хотя мысль вполне соблазнительная и я люблю ее. Идея эта — изобразить вполне прекрасного человека<sup>11</sup>. Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно. Вы, конечно, вполне с этим согласитесь. Идея эта и прежде мелькала в некотором художественном образе, но ведь только в некотором, а надобен полный. Только отчаянное положение мое принудило меня взять эту невыношенную мысль. Рискнул как на рулетке: «Может быть, под пером разовьется!» Это непростительно.

В общем план создался. Мелькают в дальнейшем детали, которые очень соблазняют меня и во мне жар поддерживают. Но целое? Но герой? Потому что целое у меня выходит в виде героя. Так поставилось. Я обязан поставить образ. Разовьется ли он под пером? И вообразите, какие, сами собой, вышли ужасы: оказалось, что кроме героя есть и героиня, а стало быть, ДВА ГЕРОЯ!! И кроме этих героев есть еще два характера — совершенно главных, то есть почти героев. (Побочных характеров, в которых я обязан большим отчетом, — бесчисленное множество, да и роман в 8 частях.) Из четырех героев — два обозначены в душе у меня крепко, один еще совершенно не обозначился, а четвертый, то есть главный, то есть первый герой, — чрезвычайно слаб. Может быть, в сердце у меня и не слабо сидит, но ужасно труден. Во всяком случае, времени надо бы вдвое более (пілітим), чтоб написать.

Первая часть, по-моему, слаба. Но мне кажется, еще есть одно опасение: то, что еще ничего не скомпрометировано и может быть развито в дальнейших частях удовлетворительно (о, если бы!). Первая часть, в сущности, одно только введение. Одно надо: чтоб она возбудила хоть некоторое любопытство к дальнейшему. Но об этом я положительно не могу судить.«...»

«...» Роман называется «Идиот». А впрочем, никто себе не судья, особенно сгоряча. Может быть, и первая часть недурна. Если я не развел главного характера, то ведь так по законам всей планировки выходит. Вот почему и жду Вашего осуждения с таким алчным нетерпением.«...»

С. А. ИВАНОВОЙ

Женева, 1(13) января / 1868 г.

«...» Идея романа — моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее, а если взялся те-

перь, то решительно потому, что был в положении чуть не отчаянном. Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного,— всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо. (Все Евангелие Иоанна в этом смысле; он все чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного.) Но я слишком далеко зашел. Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон-Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Пиквик Диккенса (бесконечно слабейшая мысль, чем Дон-Кихот; но все-таки огромная) тоже смешон и тем только и берет. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному — а стало быть, является симпатия и в читателе. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора. Жан Вальжан, тоже сильная попытка,— но он возбуждает симпатию по ужасному своему несчастию и несправедливости к нему общества. У меня ничего нет подобного, ничего решительно, и потому боюсь страшно, что будет положительная неудача. Некоторые детали, может быть, будут недурны. Боюсь, что будет скучен. Роман длинный. <...>

А. Н. МАЙКОВУ

Женева 18 февраля / (18)68.  
1 марта

<...> Голубчик, Вы мне обещали тотчас же по прочтении 1-й части отписать сюда Ваше мнение о ней. И вот каждый день шляюсь на почту, и нет письма, а вероятно, уж Вы «Русский вестник» имели. Заключение вывожу ясное: что роман слаб, и так как Вам говорить мне такую правду в глаза, по деликатности, и совестно и жалко, то Вы и медлите. А я именно в такой правде нуждаюсь! Жажду какого-нибудь отзыва. Без этого просто мучение.<...>

<...> Прочел разбор «Войны и мира». Как бы желал все прочесть. Половину я читал. Должно быть, капитальная вещь,

жаль, что слишком много мелочных психологических подробностей, капельку бы поменьше. А впрочем, благодаря именно этим подробностям как много хорошего. <...>

С. А. ИВАНОВИ

Женева Апреля 10-го, / (18)68  
Марта 30

<...> Я ужасно боюсь за роман и минутами почти совсем уверен, что не удастся. Идея слишком хороша, а на выполнение меня, может быть, и не хватит, особенно так спеша, и за границей (верите ли, ангел мой, что значит долго быть за границей и отыкать от России: мыслей тех нет, восторга нет, энергии нет, как в России. Как ни странно, а это так). Меня, впрочем, ободрили: я получил несколько писем и отзывов из Петербурга, тотчас по выходе первой части, от людей слишком компетентных. Там провозгласили роман *совершенством*, выше всего, что я написал, одним словом восторг. Но я в это не верю: идея одна из тех, которые не берут эффектом, а сущностью. Эта сущность хороша в замысле, но какова-то еще в исполнении? <...>

А. Н. МАЙКОВУ

11 / 23 декабря / (18)68. Флоренция.

<...> Ах, друг мой! Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм — реальнее ихнего. Господи! Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние 10 лет в нашем духовном развитии,— да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает. Ну не ничтожен ли Любим Торцов в сущности,— а ведь это всё, что только идеального позволил себе их реализм. Глубок реализм — нечего сказать! Ихним реализмом — сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты. Случалось.

Голубчик мой, не смейтесь над моим самолюбием, но я как Павел: «Меня не хвалят, так я сам буду хвалиться». <...>

Н. Н. СТРАХОВУ

Флоренция, 12/24 декабря / (18)68.

(...) Что совсем было прекратилась литература, так это совершенно верно. Да она, пожалуй, и прекратилась, если хотите. И давно уже. Видите, дорогой мой Николай Николаич, ведь с какой точки зрения смотреть: по-моему, если иссякло свое настоящее русское и оригинальное слово, то и прекратилась, нет гения впереди — стало быть, прекратилась. Со смертию Гоголя она прекратилась. Мне хочется поскорее своего. Вы очень уважаете Льва Толстого, я вижу; я согласен, что тут есть и *свое*; да мало. А впрочем, он, из *всех нас*, по моему мнению, успел сказать наиболее своего и потому стоит, чтоб поговорить о нем. (...)

С. А. ИВАНОВОЙ

Флоренция 6 февр.  
25 января / (18)69

Мне непременно надобно воротиться в Россию; здесь же я потеряю возможность даже писать, не имея под руками всегдашнего и необходимого материала для письма,— то есть русской действительности (дающей мысли) и русских людей. А сколько справок необходимо делать поминутно, и негде. Теперь у меня в голове мысль огромного романа, который во всяком случае, даже и при неудаче своей, должен иметь эффект,— собственно по своей теме. Тема — атеизм<sup>12</sup>. (Это не обличение современных убеждений, это другое и — поэма настоящая.) Это *поневоле* должно завлечь читателя.

Н. Н. СТРАХОВУ

26 февраля  
Флоренция 10 марта / (18)69.

Кстати, заметили Вы один факт в нашей русской критике? Каждый замечательный критик наш (Белинский, Григорьев) выходил на поприще непременно как бы опираясь на передового писателя, то есть как бы посвящал всю свою карьеру разъяснению этого писателя и в продолжение жизни успевал высказать все свои мысли не иначе, как в форме растолкования этого писателя. Делалось же это наивно и как бы необходимо. Я хочу сказать, что у нас критик не иначе растолкует себя, как являясь рука об руку с писателем, приводя-

щим его в восторг. Белинский заявил себя ведь не пересмотром литературы и имен, даже не статью о Пушкине, а именно опираясь на Гоголя, которому он поклонился еще в юношестве. Григорьев вышел разъяснения Островского и сражаясь за него. У Вас бесконечная, непосредственная симпатия к Льву Толстому, с тех самых пор как я Вас знаю. Правда, прочти статью Вашу в «Заре», я первым впечатлением моим ощутил, что она *необходима* и что Вам, чтоб по возможности высказаться, иначе и нельзя было начать, как с Льва Толстого, то есть с *его последнего сочинения*. (В «Голосе», фельетонист говорил, что Вы разделяете исторический фатализм Льва Толстого. Наплевать, конечно, на глупенькое слово, но не в том дело, а в том: скажите, откуда они берут такие мудреные мысли и выражения? Что значит *исторический фатализм*? Почему именно рутина и глупенькие, ничего не замечающие далее носу, всегда затемнят и углублят так свою же мысль, что ее и не разберешь? Ведь он, очевидно, что-то хочет сказать, а что он читал Вашу статью, то это несомненно.) Именно то, что Вы говорите в том месте, где говорите о Бородинской битве, и выражаете всю сущность мысли и Толстого и Вашу о Толстом. Яснее бы невозможно, кажется, выразиться. Национальная, русская мысль заявлена почти обнаженно. И вот этого-то и не поняли и перетолковали в фатализм! Что касается до остальных подробностей о статье, то жду продолжения (которое до сих пор еще не дошло до меня). Ясно, логично, твердо сознанная мысль, написанная изящно до последней степени. Но кой с чем в подробностях я не согласился. Разумеется, при свидании мы бы с Вами не так поговорили, как на письме. В конце концов я считаю Вас за единственного представителя нашей теперешней критики, которому принадлежит будущее. (...)

(...) Вы избегаете полемики? Напрасно. Полемика есть чрезвычайно удобный способ к разъяснению мысли; у нас публика слишком любит ее. Все статьи, например, Белинского имели форму полемической. Притом же в полемике можно выказать тон журнала и заставить его уважать. Притом же Вам лично отсутствие полемического приема может даже и повредить: у Вас язык и изложение несравненно лучше григорьевского. Ясность необычайная; но всегдашнее спокойствие придает Вашим статьям вид отвлеченности. Надо и поволноваться, надо и хлестнуть иногда, снизойти до самых частных текущих, насущных частностей. Это придает появлению статьи вид самой насущной необходимости и поражает публику. (...)

(...) У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив. В каждом номере газет Вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими; а между тем они действительность, потому что они факты. Кто же будет их замечать, их разъяснять и записывать? Они поминутны и ежедневны, а не исключительны. Ну что же это будет, если глубина идеи наших художников не пересилит в изображениях их глубину идеи, например, Райского (Гончарова)? Что такое Райский? Изображается по-казенному псевдорусская черта, что все начинает человек, задается большим и не может кончить даже малого? Экая старина! Экая дряхлая пустенькая мысль, да и совсем даже неверная! Клевета на русский характер при Белинском еще. И какая мелочь и низменность воззрения и проникновения в действительность. И все одно да одно. Мы всю действительность пропустим этак мимо носу. Кто ж будет отмечать факты и углубляться в них? Про повесть Тургенева я уж не говорю: это черт знает что такое! Неужели фантастичный мой «Идиот» не есть действительность, да еще самая обыденная! Да именно теперь-то и должны быть такие характеры в наших оторванных от земли слоях общества,— слоях, которые в действительности становятся фантастичными. Но *нечего* говорить! В романе много написано насекоро, много растянуто и не удалось, но кой-что и удалось. Я не за роман, а за идею мою стою. Напишите, напишите мне Ваше мнение и как можно откровеннее. Чем больше Вы обругаете, тем больше я оценю Вашу искренность.

С. А. ИВАНОВОЙ

\*

Флоренция 8/20 марта / (18)69.

(...) Ну вот я и задумал теперь одну мысль, в форме романа. Роман этот называется «Атеизм»; мне кажется, я весь выскажусь в нем. И представьте же, друг мой: писать его здесь я не могу; для этого мне нужно быть в России непременно, видеть, слышать и в русской жизни участвовать непосредственно; надо, наконец, писать его два года. Здесь же я этого не могу и потому должен писать другое. Все это

делает мне все дальше и дальше жизнь за границей несносною. (...)

(...) мне надо, надо воротиться. Вы пишете о Тургеневе и о немцах. Тургенев за границей выдохся и талант потерял весь, об чем ему даже газета «Голос» заметила. Я не боюсь онемечиться... но мне Россия нужна; без России последние силенки и талантишко потеряю. Я это чувствую, живьем чувствую.

#### Н. Н. СТРАХОВУ

Флоренция 30/18 марта (18)69.

(...) У меня есть один рассказ, весьма небольшой, листа в 2 печатных, может быть, несколько более. (...) Этот рассказ я еще думал написать четыре года назад в год смерти брата, в ответ на слова Ап. Григорьева, похвалившего мои «Записки из подполья» и сказавшего мне тогда: «Ты в этом роде и пиши». Но это не «Записки из подполья»; это совершенно другое по форме, хотя сущность — та же, моя всегдашая сущность, если только Вы, Николай Николаевич, признаете и во мне, как у писателя, некоторую свою, особую сущность. Этот рассказ я могу написать очень скоро,— так как нет ни одной строчки и ни единого слова, неясного для меня в этом рассказе.

#### Н. Н. СТРАХОВУ

Флоренция  $\frac{18\text{-}e}{6\text{-}e}$  апреля (1869).

(...) Раз навсегда — замолчите и не говорите о своем «бессилии»... Никогда еще не было у Вас столько ясности, логики, взгляда и убежденного вывода. Правда, Ваша «Бедность русской литературы» мне понравилась больше, чем статья о Толстом. Она шире будет. Но зато первая половина статьи о Толстом — ни с чем не сравнима: это идеал критической постановки. По-моему, в статье есть и ошибки, но во-1-х, это только по-моему, а во-2-х, и ошибки такие хороши. Эта ошибка называется: излишнее увлечение, а это всегда делу спорит, а не вредит. Но в конце концов я еще не читывал ничего подобного в русской критике.

Про статью Данилевского<sup>13</sup> думаю, что она должна иметь колossalную будущность, хотя бы и не имела теперь. Возможности нет предположить, чтоб такие сочинения могли

заглохнуть и не произвести всего впечатления! Про Фрола же Скобеева<sup>14</sup> хотел было написать к Вам письмо, с тем чтоб его напечатать в «Заре», да некогда и слишком волнуюсь; впрочем, может быть, и исполню. Не знаю, что выйдет из Аверкиева, но после «Капитанской дочки» я ничего не читал подобного. Островский — щеголь и смотрит безмерно выше своих купцов. Если же и выставит купца в человеческом виде, то чуть-чуть не говоря читателю или зрителю: «Ну что ж, ведь и он человек». Знаете ли, я убежден, что Добролюбов правее Григорьева в своем взгляде на Островского. Может быть, Островскому и действительно не приходило в ум всей идеи насчет темного царства, но Добролюбов *подсказал* хорошо и попал на хорошую почву.

#### А. Н. МАЙКОВУ

Флоренция 15/27 мая (18)69.

«...» поэма, по-моему, является как самородный драгоценный камень, алмаз, в душе поэта, совсем готовый, во всей своей сущности, и вот это первое дело поэта, *как создателя и творца*, первая часть его творения. Если хотите, так даже не он и творец, а жизнь, могучая сущность жизни, бог живой и сущий, совокупляющий свою силу в многоразличии создания *местами*, и чаще всего в великом сердце и в сильном поэте, так что если не сам поэт творец (а с этим надо согласиться, особенно Вам как знатоку и самому поэту, потому что ведь уж слишком целью, окончательно и готово является вдруг из души поэта созданье), — если не сам он творец, то по крайней мере душа-то его есть тот самый рудник, который зарождает алмазы и без которого их нигде не найти. Затем уж следует *второе* дело поэта, уже не так глубокое и таинственное, а только как художника: это, получив алмаз, обделать и оправить его. (Тут поэт почти только что ювелир.) Ну так вот, в этом ряде былин, в стихах (представляя себе эти былины, я представлял себе иногда Ваш «Констанский собор»), — воспроизвести с любовью и с *нашю мыслию*, с самого начала, с русским взглядом, — всю русскую историю, отмечая в ней те точки и пункты, в которых она, временами и местами, как бы сосредоточивалась и выражалась вся, вдруг, во всем своем целом. Таких всевыраждающих пунктов найдется во все тысячелетие до десяти, даже чуть ли не больше. Ну вот схватить эти пункты и рассказать в былине, *всем и каждому*, но не как простую летопись, нет, а как сердечную поэму,

даже без строгой передачи факта (но только с чрезвычайною ясностью), схватить главный пункт и так передать его, чтоб видно, с какой мыслию он выился, с какой любовью и мукою эта мысль досталась. Но без эгоизма, без слов от себя, а наивно, как можно *наивнее*, только чтоб одна любовь к России била горячим ключом — и более ничего. Вообразите себе, что в третьей или в четвертой былине (я их в уме тогда сочинил и долго потом сочинял) у меня вышло взятие Магометом 2-м Константинополя (и это прямо и невольно явилось как былина из *русской истории*, сама собою и без намерения; потом я сам подивился, как, без всякого сомнения и даже без обдумывания и без сознания, у меня так пришлось, что взятие Константинополя, я причел прямо к *русской истории*, не усумнившись нимало). Вся эта (сцена) катастрофа в наивном и скромном рассказе: турки облегли Царьград тесно; последняя ночь перед приступом, который был на заре; последний император, ходит по дворцу —

(«Король ходит большими шагами»),  
идет молиться образу Влахернской божией матери; молитва;  
приступ, бой; султан с окровавленной саблей въезжает в Константинополь. Труп последнего императора отыскивают, по приказанию султана, в куче убитых, узнают по орлам, вышитым на сапожках. Святая София, дрожащий патриарх, последняя обедня, султан, не слезая с коня, скакет по ступеням в самый храм (...) доскакав до середины храма, останавливает коня в смущении, задумчиво и с смятением озирается и выговаривает слова: «Вот дом для молитвы аллаху!» Затем выбрасывают иконы, престол, ломают алтарь, становят мечеть, труп императора хоронят, а в русском царстве последняя из Палеологов является с двуглавым орлом вместо приданого; русская свадьба, князь Иван III в своей деревянной избе вместо дворца, и в эту деревянную избу переходит и великая идея о всеправославном значении России и полагается первый камень о будущем главенстве на Востоке, расширяется круг русской будущности, полагается мысль не только великого государства, но и целого нового мира, которому суждено обновить христианство всеславянской православной идеей и внести в человечество новую мысль, когда загниет Запад, а загниет он тогда, когда папа исказит Христа окончательно и тем зародит атеизм в опоганившемся западном человечестве.

Да и не эта одна мысль об этой эпохе: была у меня мысль, рядом с изображением деревянной избушки и в ней умного, с величавой и глубокой идеей князя в бедных одеждах, митрополита, сидящего с князем, и прижившейся в Рос-

сии «Фоминишины» — вдруг, в другой уже балладе, перейти к изображению конца пятнадцатого и начала 16-го столетия в Европе, Италии, папства, искусства храмов, Рафаэля, поклонения Аполлону Бельведерскому, первых слухов о Реформе, о Лютере, об Америке, об золоте, об Испании и Англии,— целая горячая картина в параллель со всеми предыдущими русскими картинами,— но с намеками о будущности этой картины, о будущей науке, об атеизме, о *правах человечества*, сознанных по-западному, а не по-нашему, что и послужило источником всего, что есть и что будет. В горячей мысли моей я думал даже, что не надо кончать былины на Петре, например, об котором непременно нужно особенное хорошее слово и хорошая поэма-былина с смелым и *откровенным взглядом, нашим взглядом*. Я бы прошел до Бирона, до Екатерины и далее,— я бы прошел (далее) до освобождения крестьян и до бояр, рассыпавшихся по Европе с последними кредитными рублишками, до барынь б<...>щих с Боргезанами, до семинаристов, проповедующих атеизм, до всегуманных и всесветских граждан русских графов, пишущих критики и повести, и т. д. и т. д. Поляки бы должны были занять много места. Затем кончил бы фантастическими картинами будущего: России через два столетия и рядом померкшей, истерзанной и оскотинившейся Европы, с ее цивилизацией. Я бы не остановился тут *ни перед какой фантазией...*

Вы считаете меня в эту минуту, конечно, за сумасшедшего, собственно и главное за то, что я так расписался, потому что обо всем этом надо говорить лично, а не писать, ибо в письме ничего понятно не передашь. Но я разгорячился. Видите ли: прочтя в Вашем письме о том, что Вы пишете эти баллады, я страшно удивился тому: как это нам, так долго разлученным, пришла одна и та же мысль, одной и той же поэмы? Обрадовавшись этому, я потом задумался: так ли это мы оба понимаем, то есть одинаково ли? Видите ли: моя мысль в том, что эти баллады могли бы быть великою национальною книгой и послужить к возрождению самосознания русского человека много. Помилуйте, Аполлон Николаевич! Да ведь эти поэмы все мальчики в школах будут знать и учить наизусть. Но заучив поэму, он заучит ведь и мысль и взгляд, и так как этот взгляд верен, то на всю жизнь *в душе* его и останется. Так как это стихи и поэмы сравнительно короткие, то ведь весь мир читающий русский прочтет их, как «Констанский собор», который многие до сих пор наизусть знают. И потому — это не просто поэмы и литературное занятие,— это наука, это проповедь, это подвиг. Когда я прошлого года хотел писать

Вам и склонить Вас, чтоб Вы принялись за эту мысль, я думал про себя: да как я передам ему, чтоб он понял меня совершенно? — и вдруг, через год, вы сами *вдохновляетесь ТОЙ ЖЕ* самой идеей и *находите нужным* ее писать! Значит, идея верна! Но одно, одно надо и непременно: надо, чтоб поэмы были необыкновенной поэтической прелести, чтоб увлекли и увлекли непременно, увлекли до *невольного* заучивания. Друг мой! Вспомните, что, может быть, вся Ваша поэтическая карьера до сих пор была только одно *предисловие, введение* и что теперь только придется Вам вполне по силам сказать *новое слово, Ваше новое слово!* И потому смотрите на дело серьезнее, глубже и больше восторга. А главное,— простоты и наивности больше. Да вот еще: пишите рифмой, а не старым русским размером. Не смейтесь! Это важно. *Теперь рифма — народна, а старый русский размер — академизм.* Ни одно сочинение белыми стихами наизусть не заучивается. Народ уже не сочиняет песен прежним размером, а сочиняет в рифмах. Если не будет рифмы (и не будет почаше хорея) — право, Вы дело погубите. Можете надо мной смеяться, но я правду говорю! Грубую правду! (...)

(...) Множество, множество вещей, без которых я не могу обойтись, осталось в России! Писал я Вам или нет о том, что у меня есть одна литературная мысль (роман, притча об *атеизме*), пред которой вся моя прежняя литературная карьера — была только дрянь и введение и которой я *всю мою жизнь будущую* посвящаю? Ну так мне ведь нельзя писать ее здесь,— непременно надо быть в России. Без России не напишешь. (...)

#### И. Н. СТРАХОВУ

Дрезден 26 февр<sup>(алл)</sup> 1870.  
10 марг<sup>(а)</sup>

(...) я никогда не выдумывал сюжета из-за денег, из-за принятой на себя обязанности к сроку написать. Я всегда обязывался и запродаивался, когда уже имел в голове тему, которую действительно хотел писать и считал нужным написать. Такую тему имею и теперь. Распространяться об ней не буду, но вот что скажу: редко являлось у меня что-нибудь новее, полнее и оригинальнее. Я могу так говорить, не будучи обвинен в тщеславии, потому что говорю еще только про тему, про воплотившуюся в голове мысль, а не про исполнение. Исполнение же зависит от бога; могу и испакостить, что часто со мною случалось, но что-то мне говорит внутри меня, что вдохновение не оставит меня. Но за новость мысли и за

оригинальность приема ручаюсь и покамест смотрю на мысль с восторгом.

Еще прибавлю, что я всегда, во всю мою литературную жизнь исполнял точнейшим образом мои литературные обязательства и ни разу не манкировал; сверх того ни разу не писал собственно из-за одних денег, чтоб отдалиться от принятого на себя обязательства. Если портил, то портил от чистого сердца, а не злоумышленно. <...>

Н. Н. СТРАХОВУ

Дрезден 24 марта  
5 апреля 1870

<...> Я откровенно Вам все объясню. (На вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник»<sup>15</sup>, я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. Надеюсь на успех. Впрочем, кто же может садиться писать, не надеясь на успех?) <...>

<...> Кстати (хотя это и не входит в тему Вашей статьи), но не правда ли, что есть и еще одна точка в определении и постановке главной сущности всей деятельности Г(ерцена)<sup>16</sup> — именно та, что он был, всегда и везде, — поэт по преимуществу. Поэт берет в нем верх везде и во всем, во всей его деятельности. Агитатор-поэт, политический деятель — поэт, социалист-поэт, философ — в высшей степени поэт! Это свойство его натуры мне кажется многое объяснить может в его деятельности, даже его легкомыслие и склонность к каламбуру в высочайших вопросах нравственных и философских (что, говоря мимоходом, в нем очень претит). <...>

<...> Две строчки о Толстом, с которыми я не соглашаюсь вполне, это — когда Вы говорите, что Л. Толстой равен всему, что есть в нашей литературе великого. Это решительно невозможно сказать! Пушкин, Ломоносов — гении. Явиться с «Арапом Петра Великого» и с «Белкиным» — значит решительно появиться с гениальным новым словом, которого до тех пор совершенно не было нигде и никогда сказано. Явиться же с «Войной и миром» — значит явиться после этого нового слова, уже высказанного Пушкиным, и это во всяком случае, как бы далеко и высоко ни пошел Толстой в развитии уже сказанного в первый раз, до него, гением, нового слова. Помоему, это очень важно. Впрочем, я не могу всего высказать в нескольких строках.

А. Н. МАЙКОВУ

25 марта  
Дрезден / 1870.  
6 апреля

(...) Писать — тем куча. Про здешнее же писание Вы говорите золотые слова; действительно, я отстану — не от века, не от знания, что у нас делается (я, наверно, гораздо лучше Вашего это знаю, ибо, ежедневно (!) прочитываю *три русские газеты до последней строчки и получаю два журнала*) — но от *живой струи жизни* отстану; не от идеи, а от плоти ее,— а это ух как влияет на работу художественную! <...>

То, что пишу — вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. (Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что *ретроград!*) Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь. И знаете, в какой я смуте? — решительно не могу решить: будет успех или нет? <...>

(...) Не надеясь на успех, нельзя с жаром работать. А я с жаром работаю. Стало быть, надеюсь.

(...) (Общее название романа есть: «*Житие великого грешника*», но каждая повесть будет носить название отдельно.) Главный вопрос, который проведется во всех частях,— тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь,— существование божие. Герой в продолжение жизни то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист. 2-я повесть будет происходить вся в монастыре. На эту 2-ю повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут, наконец, что не все писал пустяки. (Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич: хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского, конечно, под другим именем, но тоже архиерей будет проживать в монастыре на спокое) 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и разращенный (я этот тип знаю), будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг наш образованный) и для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном (Вы ведь знаете характер и все лицо Тихона). Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например, за границей, на французском языке, брошюру,— очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, например, Грановский,

Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) В монастыре есть и Павел Пруссий, есть и Голубов, и инок Парфений. (В этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства.) Но главное — Тихон и мальчик. Ради бога, не передавайте никому содержания этой 2-й части. (Я никогда вперед не рассказываю никому моих тем, стыдно как-то. А Вам исповедуюсь.) Для других пусть это гроша не стоит, но для меня сокровище. Не говорите же про Тихона. Я писал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру. Это уж не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в «Обломове» и не Лопухины, не Рахметовы. Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом.

#### С. А. ИВАНОВОЙ

Дрезден 7/19 мая / 1870.

(...) Роман вышел неудовлетворителен, но кроме того вышло и то, чего я не мог даже и предвидеть прежде: вышло то, что я, долго быв вне России, потерял возможность даже и писать как следует, так что даже и на новое произведение какое-нибудь надеяться не могу (затруднения эти не столько духовные, сколько материальные: например, невозможность личного взгляда и личного наблюдения в самых обыденных вещах, если говоришь о настоящей минуте, о текущей современности). У меня, например, и задуман роман (в успех которого я верю вполне; но писать его здесь я совершенно не решаюсь и отложил. (...)

#### Н. Н. СТРАХОВУ

28 мая  
Дрезден 1870.  
9 июня

(...) Не будь теперь Ваших критик, и ведь у нас совсем уж не останется никого, в целой литературе, кто бы смотрел на критику, как на дело серьезное и строго необходимое. Не останется даже никого из пишущих критиков, кто бы сколько-нибудь ценил потребность (и уважение к нему)

правильного философского осмысления текущих и минувших вещей, а стало быть, ценил и критику, то есть собственное дело свое. <...>

А потом позвольте Вам сказать, что влияния не так скоро создаются, что сумбур нашего современного общества имеет тот же смысл, то есть свои законы движения, и что, наконец, Вы даже не имеете никакой возможности судить о непосредственной полезности и влиятельности Ваших статей и действительно ли они пишутся для тех только, «кто и без Вас так же думал». Это неправда. <...>

<...> А какой ерыжный тон во всей теперешней литературе! Про беспорядок и сумятицу в идеях — бог с ними, они и должны были произойти. Но этот тон всеобщий! Какая ерыжность, какая уличность! И ни одной-то усвоенной, крепкой мысли, хоть какой-нибудь, хотя бы и ложной! Что у них за философы, что у них за фельетонисты! Полная дрянь. Но есть зато, единицами, люди, которые и мыслят, и влияние имеют — и так всегда бывает при всяком беспорядке. Только чтоб эти единицы пересилили сумбур публики, и Вы увидите, что она примет их тон, наконец. <...>

<...> Да вот еще давно хотел Вас спросить: не знакомы ли Вы с Львом Толстым лично? Если знакомы, напишите, пожалуйста, мне, какой это человек? Мне ужасно интересно узнать что-нибудь о нем. Я о нем очень мало слышал, как о частном человеке. <...>

#### С. А. ИВАНОВОЙ

Дрезден 17/29 августа / 1870.

<...> Роман, который я писал, был большой, очень оригинальный, но мысль несколько нового для меня разряда, нужно было очень много самонадеянности, чтоб с ней справиться. Но я не справился и лопнул. Работа шла вяло, я чувствовал, что есть капитальный недостаток в целом, но какой именно — не мог угадать...

И вот, две недели назад, принявшиись опять за работу, я вдруг разом увидел, в чем у меня хромало и в чем у меня ошибка, при этом сам собою, по вдохновению, представился в полной стройности новый план романа. Все надо было изменить радикально; не думая нимало, я перечеркнул все написанное (листов до 15 вообще говоря) и принялся вновь с 1-й страницы. Вся работа всего года уничтожена. О, Сонечка! Если б Вы знали, как тяжело быть писателем, то есть выносить

эту долю? Верите ли, я знаю наверно, что будь у меня обеспечено два-три года для этого романа, как у Тургенева, Гончарова или Толстого, и я написал бы такую вещь, о которой 100 лет спустя говорили бы! Я не хвастаюсь, спросите Вашу совесть и воспоминания Ваши обо мне: хвастун ли я? Идея так хороша, так многозначительна, что я сам перед нею преклоняюсь. А что выйдет? Заранее знаю: я буду писать роман месяцев 8 или 9, скомкаю и испорчу. Такую вещь нельзя иначе писать как два-три года. (Да и объемиста она: листов 35 будет.) Детали, может, выйдут недурно, будут начерчены характеры — но начерно. Будет много невыдержанок, лишних растянутостей. Бездна красот (говорю буквально) не войдет ни за что, ибо вдохновение во многом зависит от времени. Ну, а я все-таки сажусь писать! Разве не мучение сознательно на себя руки подымать! <...>

М. Н. КАТКОВУ

Дрезден 8/20 октября 1870.

<...> Одним из числа крупнейших происшествий моего рассказа будет известное в Москве убийство Нечаевым Иванова. Спешу оговориться: ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если б и знал, то не стал бы копировать. Я только беру совершившийся факт. Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью, и мой Петр Верховенский можетисколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Без сомнения, небесполезно выставить такого человека; но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня лицом комическим. И потому, несмотря на то, что все это происшествие занимает один из первых планов романа, оно тем не менее — только акессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы называться главным лицом романа.

Это другое лицо (Николай Ставрогин) — тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо — трагическое, хотя многие, наверно, скажут по прочтении: «Что это такое?» Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское и типи-

ческое лицо. Мне очень, очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу приговор, что лицо ходульное. Я из сердца взял его. Конечно, это характер, редко являющийся во всей своей типичности, но это характер русский (известного слоя общества). Но подождите судить меня до конца романа, многоуважаемый Михаил Никифорович! Что-то говорит мне, что я с этим характером справлюсь. Не объясняю его теперь в подробности; боюсь сказать не то, что надо. Замечу одно: весь этот характер записан у меня сценами, действием, а не рассуждениями; стало быть, есть надежда, что выйдет лицо.

Мне очень долго не удавалось начало романа. Я переделывал несколько раз. Правда, у меня с этим романом происходило то, чего никогда еще не было: я по неделям останавливал работу с начала и писал с конца. Но и кроме того, боюсь, что само начало могло бы быть живее. На 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> печатных листах (которые высылаю) я еще едва завязал интригу. Впрочем, интрига, действие будут расширяться и развиваться неожиданно. За дальнейший интерес романа ручаюсь. Мне показалось, что так будет лучше, как теперь.

Но не все будут мрачные лица; будут и светлые. Вообще боюсь, что многое не по моим силам. В первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица беру Тихона Задонского. Это тоже святитель, живущий на спокое в монастыре. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа. Боюсь очень; никогда не пробовал; но в этом мире я кое-что знаю. (...)

А. Н. МАЙКОВУ

Дрезден 9/21 октября / 1870.

(...) Кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и бога. Ну, если хотите знать,— вот эта-то и есть тема моего романа. Он называется «Бесы», и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней. Безо всякого сомнения, я напишу плохо; будучи больше поэтом, чем художником, я вечно брал темы не по силам себе. И потому испорчу, это наверно. Тема слишком сильна. Но так как еще никто, из всех критиков, судивших обо мне, не отказывал мне в некотором таланте, то, вероятно, и в этом длинном романе будут места недурные. (...)

Н. Н. СТРАХОВУ

Дрезден 9/21 октября / 1870 г.

⟨ … ⟩ Говорят, что тон и манера рассказа должны у художника зарождаться сами собою. Это правда, но иногда в них сбиваешься и их ищешь. Одним словом, никогда никакая вещь не стоила мне большего труда. Вначале, то есть в конце прошлого года,— я смотрел на эту вещь, как на вымученную, как на сочиненную, смотрел свысока. Потом посетило меня вдохновение настоящее — и вдруг полюбил вещь, схватился за нее обеими руками — давай черкать написанное. Потом летом опять перемена: выступило еще новое лицо, с претензией на настоящего героя романа, так что прежний герой (лицо любопытное, но действительно не стоящее имени героя) стал на второй план. Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за переделку. И вот теперь, как уже отправил в редакцию «Р<sup>усского</sup> вестника» начало начала — я вдруг испугался: боюсь, что не по силам взял тему. Но серьезно боюсь, мучительно! А между тем я ведь ввел героя не с бухда-барам. Я предварительно записал всю его роль в программе романа (у меня программа в несколько печатных листов), и вся записалась одними сценами, то есть действием, а не рассуждениями. И потому думаю, что выйдет лицо и даже, может быть, новое; надеюсь, но боюсь. Пора же наконец написать что-нибудь и серьезное ⟨ … ⟩

Статья о Полонском мне понравилась очень. Бессспорно, важная тема о том, в чем заключается истинная поэзия? Но еще бы, мне кажется, лучше было, если б Вы распространились при этом и о том,— что именно составляет фальшивую, напускную поэзию. Клянусь Вам, Николай Николаевич, что публика теперешняя уже далеко не та, чем во времена нашей юности. Теперешней уже многое надо вновь растолковывать. Ах, Николай Николаевич,— будьте позлее! ⟨ … ⟩

Каждодневно делаю прогулку и прочитываю по нескольку газет, между прочим и две русские. По-моему, все эти потрясающие современные события будут иметь непосредственное и скорое влияние и на нашу русскую жизнь, а стало быть, и на литературу. Во всяком случае времена необыкновенные. Не думаю, чтоб литература проиграла в своем влиянии и значении. Напротив, во всяком случае выиграет, но читая, например, газеты русские, так и чувствуешь, до какой степени это скороспело и без собственной мысли ⟨ … ⟩

А. Н. МАЙКОВУ

Дрезден 15/27 декабря / 1870.

〈...〉 Название романа «Бесы» (все те же «бесы», о которых писал Вам как-то с эпиграфом из Евангелия. Хочу высказаться вполне открыто и не заигрывая с молодым поколением. 〈...〉

Н. Н. СТРАХОВУ

Дрезден ————— 5 мая  
23 апреля (18)71.

〈...〉 Вследствие громадных переворотов, начиная с гражданских и доходя до тесно-литературного цикла, у нас разбилось, рассеялось на некоторое время и понизилось общественное образование и понимание. Люди вообразили, что им уже некогда заниматься литературой (точно игрушкой, каково образование!), и уровень критического чутья и всех литературных потребностей страшно понизился. Так что всякий критик, кто бы у нас ни появился, не произвел бы теперь надлежащего впечатления. Добролюбовы и Писаревы имели успех именно потому, что, в сущности, отвергали литературу — целую область человеческого духа. Но потакать этому невозможно и продолжать критическую деятельность все-таки должно. Простите же и меня за совет, но вот как бы я поступил на Вашем месте теперь.

У Вас была, в одной из Ваших брошюр, одна великолепная мысль и, главное, первый раз в литературе высказанная,— это: что всякий, чуть-чуть значительный и действительный талант — всегда кончал тем, что обращался к национальному чувству, становился народным, славянофильским. Так свистун Пушкин, вдруг, раньше всех Киреевских и Хомяковых, создает летописца в Чудовом монастыре, то есть раньше всех славянофилов высказывает всю их сущность и, мало того,— высказывает это несравненно глубже, чем все они до сих пор. Посмотрите опять на Герцена: сколько тоски и потребности повернуть на этот же путь и невозможность из-за скверных свойств личности. Но этого мало: этот закон поворота к национальности можно проследить не в одних поэтах и литературных деятелях, но и во всех других деятельностиах. Так что, наконец, можно бы вывести даже другой закон: если человек талантлив действительно, то он из выветрившегося слоя будет стараться воротиться к народу, если же действительного

таланта нет, то не только останется в выветрившемся слое, но еще экспатриируется, перейдет в католичество и проч. и проч. (...)

Н. Н. СТРАХОВУ \*

Дрезден 18/30 мая (1871).

(...) Неужели я Вам не писал про Вашу статью о Тургеневе? Читал я ее, как все Ваши статьи,— с восхищением, но и с некоторой маленькой досадой. Если Вы признаете, что Тургенев потерял точку и виляет и *не знает*, что сказать о некоторых явлениях русской жизни (*на всякий случай* относясь к ним насмешливо), то должны бы были и признать, что великая художественная способность его ослабела (и должна была ослабеть) в последних его произведениях. Так оно и есть в самом деле, он очень ослабел как художник. «Голос» говорит, что это потому, что он живет за границей; но причина глубже. Вы же признаете и за последними произведениями его прежнюю художественность. Так ли это? Впрочем, я, может быть, ошибаюсь (не в суждении о Тургеневе, а в Вашей статье). Может быть, Вы не так только выразились... А знаете — ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. (Решетниковы ничего не сказали. Но все-таки Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художническом слове, уже *не помещичьего* — хотя и выражают в безобразном виде).

В. Д. ОБОЛЕНСКОЙ

Петербург 20 января / 1872 г.

(...) в нашем литературном мирке все (...) так условно, так двусмысленно и со складкой, а стало быть, все так скучно и официально, особенно похвалы и лестные отзывы. Насчет же Вашего намерения извлечь из моего романа драму, то, конечно, я вполне согласен, да и за правило взял никогда таким попыткам не мешать; но не могу не заметить Вам, что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере, вполне.

Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответ-

ственныи им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме.

Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет... И однако же, отнюдь прошу не принимать моих слов за отсоветывание. Повторяю, я совершенно сочувствую Вашему намерению, а Ваше желание непременно довести дело до конца мне чрезвычайно лестно...

31 ЯНВАРЯ 1873. ЗАПИСЬ В АЛЬБОМ О. КОЗЛОВОЙ

«...» Несмотря на все утраты, я люблю жизнъ горячо, люблю жизнъ для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнъ. Мне скоро пятьдесят лет, а я все еще никак не могу распознать: оканчиваю ли я мою жизнъ или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера; может быть, и деятельности.

М. П. ФЕДОРОВУ

Петербург, 19 сентября / (18)73.

«...» Вот что скажу я Вам окончательно: «...» я не решаюсь и не могу приняться за поправки. 15 лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу ее плохою. Я написал ее тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще и ужасно опасаясь цензуры (как к бывшему ссылочному). А потому невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности. Еще водевильчик из нее бы можно сделать, но для комедии — мало содержания, даже в фигуре князя — единственной серьезной фигуре во всей повести.

И потому, как Вам угодно: хотите поставить на сцену, ставьте; но я умываю руки и переправлять сам ни одной строчки не буду. Кроме того, об одном прошу настоятельно и обязательно: имени моего на афишах чтобы не было, то есть «переведено из повести «Дядюшкин сон» господина Достоевского», или в этом роде, — прошу Вас, чтобы не было выставлено. Если же непременно надо, просто напишите: «Переведено из повести». Только чтоб не было моего имени.

Конечно, лучше бы было совсем ее не ставить. Вот мой совет.

Но так как я уже дал Вам слово вначале, а Вы употребили труд, то уже нечего делать: все в Вашей воле.

Замечу только одно, и то мимоходом: кажется, нет пропорции в величине актов? Посоветовались бы Вы в Москве с кем из актеров, знающих сцену практическую. (Я тоже ведь никогда ничего не писал для сцены.) И, во всяком случае, хорошо бы сократить. Что еще идет в повести, не пройдет на сцене. Сцена не книга. А потому, чем больше сокращений, тем бы, мне кажется, лучше <...>.

А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

*Понедельник 6 июля 1874 г.*

<...> работа моя туга подвигается, и я мучусь над планом. Обилие плана — вот главный недостаток. Когда рассмотрел его в целом, то вижу, что в нем соединилось четыре романа. Страхов всегда видел в этом мой недостаток. Но еще время есть. Авось, управлюсь. Главное план, а работа самая легче.

П. А. КОЗЛОВУ

*Старая Русса, 1-е марта / (18)75.*

<...> Будет ли в Вашем альманахе критическая статья (обзор литературы за год)? Этим чрезвычайно бы выиграло издание, особенно при хорошей статье. Всего более нужна теперь в литературе критика и всего более ее ищут и читают. <...>

А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ

*Старая Русса, 21 августа 75.*

<...> вот что главное: нельзя ли как-нибудь, чтоб ничего не выкидывали. У меня каждое лицо говорит своим языком и своими понятиями. Притом же «Странник», говорящий «от Писания», у меня говорит чрезвычайно осторожно, я сам держал цензуру каждого слова. <...>

Я. П. ПОЛОЕНСКОМУ

*4 февраля / (18)76.*

<...> Хотел очень (и хочу) писать о литературе, и об том именно, о чем никто, с тридцатых еще годов, ничего не писал:

*О ЧИСТОЙ КРАСОТЕ.* Но желал бы не сесть с этими темами и не утопить «Дневник *«писателя»*». (...)

Х. Д. АЛЧЕВСКОЙ

Петербург. 9 апреля / (18)76.

(...) я вывел неотразимое заключение, что писатель — художественный, — кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую действительность. У нас, по-моему, один только блестит этим — граф Лев Толстой. Victor Hugo\*, которого я высоко ценю как романиста (за что, представьте себе, покойник Ф. Тютчев на меня даже раз рассердился, сказавши, что «Преступление и наказание» (мой роман) выше «Misérables»\*\*, хотя и очень иногда растянут в изучении подробностей, но, однако, дал такие удивительные этюды, которые, не было бы его, так бы и остались совсем неизвестными миру. Вот почему, готовясь написать один очень большой роман, я и задумал погрузиться специально в изучение — не действительности, собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем, для меня, например, молодое поколение, а вместе с тем современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как всего еще двадцать лет назад. Но есть и еще многое, кроме того. Имея 53 года, можно легко отстать от поколения при первой небрежности. Я на днях встретил Гончарова, и на мой искренний вопрос: понимает ли он все в текущей действительности или кое-что уже перестал понимать, он мне прямо ответил, что многое «перестал понимать». Конечно, я про себя знаю, что этот большой ум не только понимает, но и учителей научит, но в том известном смысле, в котором я спрашивал (и что он понял с  $\frac{1}{4}$ , слова №. Это между нами) он, разумеется, — не то что не понимает, а не хочет понимать (...).

В. А. АЛЕКСЕЕВУ

(7 июня 1876 г.)

(...) Христос (...) знал, что одним хлебом не оживишь человека. Если притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или

\* Виктор Гюго (*франц.*).

\*\* «Отверженных» (*франц.*).

пустится в языческие фантазии. А так как Христос в Себе и в Слове своем нес идеал Красоты, то и решил: лучше вселить в души идеал Красоты; имея его в душе, все станут один другому братьями и тогда, конечно, работая друг на друга, будут и богаты. (...)

Но если дать и Красоту и Хлеб вместе? Тогда будет отнят у человека труд, личность, самопожертвование своим добром ради ближнего — одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни. И потому лучше возвестить один свет духовный. (...)

А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Эмс, 15/27 июля. Четверг / (18)76.

(...) взял Zolà, потому что ужасно пренебрегал за последние годы европейской литературой, и представь себе: едва могу читать, такая гадость. А у нас кричат про Zolà как про знаменитость, светило реализма. (...)

С. Е. ЛУРЬЕ

Петербург 17 апреля / (18)77.

(...) Насчет Виктора Гюго я, вероятно, Вам говорил, но вижу, что Вы еще очень молоды, коли ставите его в параллель с Гёте и Шекспиром. «Les Misérables» я очень люблю сам. Они вышли в то время, когда вышло мое «Преступление и наказание» (то есть они появились 2 года раньше). Покойник Ф. И. Тютчев, наш великий поэт, и многие тогда находили, что «Преступление и наказание» несравненно выше «Les Misérables». Но я спорил со всеми искренно, от всего сердца, в чем уверен и теперь, вопреки общему мнению всех наших знатоков. Но любовь моя к «Les Misérables» не мешает мне видеть их крупные недостатки. Прелестна фигура Вальжана и ужасно много характернейших и превосходных мест. Об этом я еще прошлого года напечатал в моем «Дневнике». Но зато как смешны его любовники, какие они буржуа-французы в подлейшем смысле! Как смешны бесконечная болтовня и местами риторика в романе, но особенно смешны его республиканцы — вздутие и неверные фигуры. Мошенники у него гораздо лучше. Там, где у него эти падшие люди истинны, там везде со стороны Виктора Гюго человечность, любовь, великодушие. (...)

А. П. НАЛИМОВУ

Мая 19. Четверг (1877 г.).

(...) Вы умный человек и сами можете понять, что вопросы Ваши, мне Вами заданные, как-то отвлеченные, дымны, да и личности Вашей я, к тому же, совсем ведь не знаю. Меня то же мучило, что и Вас, еще с 16-ти, может быть, лет, но я как-то уверен был, что рано или поздно, а непременно выступлю на поприще, а потому (безошибочно вспоминаю это) не беспокоился очень. Насчет же места, которое займу в литературе, был равнодушен: в душе моей был своего рода огонь, в который я и верил, а там, что из этого выйдет, меня не очень заботило, ну вот и весь мой опыт, про который Вы спрашиваете. (...)

Л. А. ОЖИГИНОЙ\*

Петербург, 28 февраля 1878 г.

Вы думаете, я из таких людей, которые спасают сердца, разрешают души, отгоняют скорбь? Иногда мне это пишут — но я знаю *наверно*, что способен скорее вселить разочарование и отвращение. Я убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это. А ведь многим существам только и надо, чтоб их баюкали.

Н. А. ЛЮБИМОВУ

Старая Русса 10 мая 1879

Сегодня выслал на Ваше имя в редакцию «Русского» вестника два с половиной (minimim) текста «Братьев Карамазовых» для предстоящей майской книги «Русского» вестника.

Это книга пятая, озаглавленная «*Pro et contra*», но не вся, а лишь половина ее. 2-я половина этой 5-й книги будет выслана (своевременно) для июньской книги, и заключать будет три листа печатных. Я потому принужден был разбить на 2 книги Русского вестника эту 5-ю книгу моего романа, что, во-1-х). Если бы даже и напряг все усилия, то кончил бы ее разве к концу мая (за сборами и переездом в Старую Руссу — слишком запоздал), стало быть не получил бы корректур,

\* Далее письма печатаются по изд.: Достоевский. Письма.— М.— Л. Гослитиздат, 1928—1959 гг., т. IV.

а это для меня важнее всего, во-2-х. Эта 5-я книга, в моем воззрении, есть кульминационная точка романа, и она должна быть закончена с особенною тщательностью. Мысль ее, как Вы уже увидите из посланного текста, есть изображение крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени в России, в среде оторвавшейся от действительности молодежи, и рядом с богохульством, с анархизмом — опровержение их, которое и приготовляется мною теперь в последних словах умирающего старца Зосимы, одного из лиц романа. Так как трудность задачи, взятой мною на себя, очевидна, то Вы, конечно, поймете, многоуважаемый Николай Алексеевич, и извините то, что я, лучше предпочел растянуть на 2 книги, чем испортить кульминационную главу мою поспешностью. В целом глава будет исполнена движения. В том же тексте, который я теперь выслал, я изображаю лишь характер одного из главнейших лиц романа, выражающего свои основные убеждения. Эти убеждения есть именно то, что я признаю синтезом современного русского анархизма. Отрицание не бога, а смысла его создания. Весь социализм вышел и начал с отрицания смысла исторической действительности и дошел до программы разрушения и анархизма. Основные анархисты были, во многих случаях, люди искренно убежденные. Мой герой берет тему, по-моему неотразимую: бессмыслицу страдания детей — и выводит из нее абсурд всей исторической действительности. Не знаю, хорошо ли я выполнил, но знаю, что лицо моего героя в высочайшей степени реальное. (В «Бесах» было множество лиц, за которые меня укоряли как за фантастические, потом же, верите ли, они все оправдались действительностью, стало быть, верно были угаданы. Мне передавал, например, К. П. Победоносцев о двух-трех случаях из задержанных анархистов, которые поразительно были схожи с изображенными мною в «Бесах».) Все, что говорится моим героем в посланном Вам тексте, основано на действительности. Все анекдоты о детях случались, были, напечатаны в газетах, и я могу указать, где, ничего не выдумано мною. Генерал, затравивший собаками ребенка, и весь факт — действительное происшествие, было опубликовано нынешней зимой, кажется, в «Архиве» и перепечатано во многих газетах. Богохульство же моего героя будет торжественно опровергнуто в следующей (июньской) книге, для которой я работаю теперь со страхом, трепетом и благоговением, считая задачу мою (разбитие анархизма) гражданским подвигом. (...)

(...) В посланном тексте, кажется, нет ни единого *неприличного* слова. Есть лишь одно, что ребеночка 5 лет мучители,

воспитавшие его, за то, что она не могла проситься ночью, обмазывали ее же калом. Но это прошу, умоляю не выкидывать. Это из текущего уголовного процесса. Во всех газетах (...) сохранено было слово кал. Нельзя смягчать, Николай Алексеевич, это было бы слишком, слишком грустно! Не для 10-летних же детей мы пишем. Впрочем я убежден, что Вы и без моей просьбы сохранили бы весь мой текст.

Еще об одном пустячке. Лакей Смердяков поет лакейскую песню, и в ней куплет:

Славная корона,  
Была бы моя милая здоровая.

Песня мною не сочинена, а записана в Москве. Слышал ее еще 40 лет назад. Сочинилась она у купеческих приказчиков 3-го разряда и перешла к лакеям, никем никогда из собирателей не записана, и у меня в первый раз является.

Но настоящий текст куплета:

Царская корона,  
Была бы моя милая здоровая.

А потому, если найдете удобным, то сохраните, ради бога, слово царская вместо славная, как я переменил на случай. (Славная-то само собой пройдет.)

#### К. П. ПОВЕДОНОСЦЕВУ

*Старая Русса 19 мая 1879.*

(...) эта книга в романе у меня кульминационная, называется «Pro и contra», а смысл книги: богохульство и опровержение богохульства. Богохульство-то вот это заканчено и отослано, а опровержение пошло лишь на июньскую книгу. Богохульство это взял, как сам чувствовал и понимал сильней, то есть так именно, как происходит оно у нас теперь в нашей России *у всего* (почти) верхнего слоя, а преимущественно у молодежи, то есть научное и философское опровержения бытия божия уже заброшено, им не занимаются вовсе теперешние деловые социалисты (как занимались во все прошлое столетие и в первую половину нынешнего). Зато отрицается из всех сил создание божие, мир божий и смысл его. Вот, в этом только современная цивилизация и находит ахинею. Таким образом,

льщу себя надеждою, что даже и в такой отвлеченной теме не изменил реализму. Опровержение сего (не прямое, то есть не от лица к лицу) явится в последнем слове умирающего старца.

Меня многие критики укоряли, что я вообще в романах моих беру будто бы не те темы, не реальные и проч. Я, напротив, не знаю ничего реальнее именно этих вот тем. (...)

Н. А. ЛЮБИМОВУ

Старая Русса 11 июня 1879.

Третьего дня я отправил в редакцию «Русского вестника» продолжение «Карамазовых» на июньскую книжку (окончание 5-й главы «Рго и contra»). В ней закончено то, что «гово-  
рят уста гордо и богохульно». Современный отрицатель, из самых ярых, прямо объявляет себя за то, что советует дьявол, и утверждает, что это вернее для счастья людей, чем Христос. Нашему русскому, дурацкому (но страшному социализму, потому что в нем молодежь) — указание, и кажется, энергичное: хлебы, Вавилонская башня (то есть будущее царство социализма) и полное порабощение совести — вот к чему приходит отчаянный отрицатель и атеист! Разница в том, что наши социалисты (а они не одна только подпольная нигилистина,— вы знаете это) или сознательные иезуиты и лгуны, не признающиеся, что идеал их есть идеал насилия над человеческой совестью и низведения человечества до стадного скота, а мой социалист (Иван Карамазов) человек искренний, который прямо признается, что согласен с взглядом «Великого Инквизитора» на человечество и что Христова вера (будто бы) вознесла человека гораздо выше, чем стоит он на самом деле. Вопрос ставится у стены: «Презираете вы человечество или уважаете, вы, будущие его спасители?»

И все это будто бы у них во имя любви к человечеству: «Тяжел, дескать, закон Христов и отвлеченен, для слабых людей невыносим» — и вместо закона Свободы и Просвещения несут им закон цепей и порабощения хлебом.

В следующей книге произойдет смерть старца Зосимы и его предсмертные беседы с друзьями. Это не проповедь, а как бы рассказ, повесть о собственной жизни. Если удастся, то сделаю дело хорошее: заставлю сознаться, что чистый идеальный христианин — дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее, и что христианство есть единственное убежище Русской земли ото всех ее зол. Молю бога,

чтоб удалось, вещь будет патетическая, только бы достало вдохновения. А главное, тема такая, которая никому из теперешних писателей и поэтов и в голову не приходит, стало быть, совершенно оригинальная. Для нее пишется и весь роман, но только чтоб удалось, вот что теперь тревожит меня!

В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ

*Старая Русса 11 июня 1879.*

«...» мне в романе предстояло провести несколько идей и положений, которые, как я боялся, им будут не очень по нутру, ибо до окончания романа действительно можно эти идеи и положения понять превратно, и вот как я боялся, то и случилось: ко мне придираются: Любимов присыпает корректуры и на полях делает отметки, ставит вопросительные знаки. До сих пор кое-как их уламывал, но очень боюсь за вчерашнюю посылку на июнь месяц, что они встанут на дыбы и скажут, что нельзя напечатать. А потому поневоле должен с ними наблюдать тактику. «...»

Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР

*15-го июня 1879 г. Старая Русса.*

«...» Кстати, вы мне пишете о критике Евг. Маркова<sup>17</sup>. Оба тома «Русской речи» лежат у меня на столе, а я еще не притронулся прочесть критику. Противно. И если имею понятие о смысле его статей, то из посторонних газет. Самый лучший мой ответ будет в том, чтоб порядочно кончить роман; по окончании романа, уже в будущем году, отвечу, разом всем критикам. За 33 года литературной карьеры надобно, наконец, объясниться. «...»

«...» Евг. Марков есть старое ситцевое платье, уже несколько раз вымытое и давно полинялое. «...»

В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ

*Эмс, 28 июля 1879 г.*

«...» Роман, который пишу теперь («Братья Карамазовы»), поглощает пока все мои силы и все мое время. «...» Пишу, не гоня, не комкая дела, переделываю, чищу, хочу кончить добросовестно, ибо никогда ни на какое сочинение мое не смот-

рел я серьезнее, чем на это. Но *наше время* — такое горячее и неопределенное, а главное, такое возбуждающее время, что, весьма может быть, и возьмусь за перо — ввиду какого-нибудь факта, какого-нибудь явления, которое вдруг поразит и о котором неотразимо захочется сказать хоть несколько слов. Я так писал, когда создавал «Дневник». <...>

Н. А. ЛЮБИМОВУ

Эмс 19 августа 1879.

Спешу выслать Вам при сем книгу *шестую «Карамазовых», всю*, для напечатания в 8-й (августовской) книге «Русского вестника». Назвал эту 6-ю книгу: «*Русский инок*» — название дерзкое и вызывающее, ибо закричат все нелюбящие нас критики: «Таков ли русский инок, как сметь ставить его на такой пьедестал?» Но тем лучше, если закричат, не правда ли? (А уж я знаю, что не утерпят.) Я же считаю, что против действительности не погрешил: не только как идеал справедливо, но и как действительность справедливо.

Не знаю только, удалось ли мне. Сам считаю, что и  $\frac{1}{10}$ -й доли не удалось того выразить, что хотел. Смотрю, однако же, на эту книгу *шестую*, как на кульминационную точку романа. Само собою, что многие из поучений моего старца Зосимы (или, лучше сказать, способ их выражения) принадлежат лицу его, то есть художественному изображению его. Я же хоть и вполне тех же мыслей, какие и он выражает, но если б лично от себя выражал их, то выразил бы их в другой форме и другим языком. Он же *не мог* ни другим языком, ни в другом духе выразиться, как в том, который я придал ему. Иначе не создалось бы художественного лица. Таковы, например, рассуждения старца о том: что есть инок, или о слугах и господах, или о том, можно ли быть судьею другого человека и проч. Взял я лицо и фигуру из древнерусских иноков и святителей: при глубоком смирении надежды беспредельные, наивные о будущем России, о нравственном и даже политическом ее предназначении. Св. Сергий, Петр и Алексей митрополиты разве не имели всегда, в этом смысле, Россию в виду?

Чрезвычайно прошу Вас (умоляю), многоуважаемый Николай Алексеевич, поручить корректуру надежному корректору, так как сам эту книгу, за отсутствием, не могу корректировать. Особенно прошу обратить внимание на корректуру от 10 до 17-го полулистка включительно (главка под рубрикой: «*о Священном писании в жизни отца Зосимы*»). Эта

глава восторженная и поэтическая, прототип взят из некоторых поучений Тихона Задонского, а наивность изложения из книги странствий инока Парфения. Просмотрите сами, многоуважаемый Николай Алексеевич, будьте отцом родным! Когда корректуры всей книги будут отсмотрены, то сообщите Михаилу Никифоровичу. Мне бы хотелось, чтоб он прочел и сказал свое мнение, ибо очень дорожу его мнением.

В этой книге, надеюсь, ничего не найдете вычеркнуть или поправить как редактор, ни словечка, за это ручаюсь.

Очень еще прошу сохранить все разделения на главы и подглавы, как есть у меня. Тут вводится в роман как бы чужая рукопись (записка Алексея Карамазова), и само собою, что эта рукопись разграфирована Алексеем Карамазовым по-своему. Здесь вставлю ропущенное NBene: в июньской книге, в главе «Великий Инквизитор», не только нарушены мои рубрики, но даже все напечатано сплошь, страниц 10 сряду, без перенесения *la другую строку* даже. Это очень меня огорчило, и на это приношу Вам мою сердечную жалобу.

Следующую 7-ю книгу, под названием: «Грушенька», которую закончится в этом году 2-я часть «Карамазовых», вышлю неуклонно примерно к 10-му сентября и уже из Старой Руссы. Эта 7-я книга предназначена мною на 2 книги «Русского вестника», сентябрьскую и октябрьскую. Будет всего к книге 7-й листа 4, так что на сентябрь придется всего лишь листа 2, не более, но что делать: в этой 7-й книге два отдельные эпизода как бы две отдельные повести. Зато с окончанием этой 2-й части восполнится совершенно дух и смысл романа. Если не удастся, то моя вина как художника. (...)

А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Эмс 25 августа 1879.

(...) «Карамазовы», надо кончить хорошо, ювелирски отделать, а вещь эта трудная и рискованная, много сил унесет. (...)

К. П. ПОВЕДОНОСЦЕВУ

Эмс 13 сентября 1879.

(...) Можно ли оставаться в наше время спокойным?.. Я вот занят теперь романом (а окончу его лишь в будущем году!) — а между тем измучен желанием продолжать бы «Днев-

ник», ибо есть, действительно имею что сказать — и именно, как Вы бы желали — без бесплодной, общеколейной полемики, а твердым небоящимся словом. И главное, все-то теперь, даже имеющие что сказать, боятся. Чего они боятся? (...)

(...) Мнение Ваше о прочитанном в «Карамазовых» мне очень польстило (насчет силы и энергии написанного), но Вы тут же задаете *необходимейший* вопрос: что отвечу на все эти атеистические положения у меня пока не оказалось, а их надо. То-то и есть, и в этом-то теперь моя забота и все мое беспокойство. Ибо ответом на всю эту *отрицательную сторону* я и предположил быть вот этой 6-й книге, «Русский инок», которая появится 31 августа. А потому и трепещу за нее в том смысле: будет ли она достаточным ответом. Тем более, что ответ-то ведь не прямой, не на положения, прежде выраженные (в «Великом Инквизиторе» и прежде) по пунктам, а лишь косвенный. Тут представляется нечто прямо и обратно противоположное выше выраженному мировоззрению, — но представляет опять-таки не по пунктам, а, так сказать, в художественной картине. Вот это меня и беспокоит, то есть буду ли понятен и достигну ли хоть каплю цели. А тут вдобавок еще обязанности художественности: потребовалось представить фигуру скромную и величественную, между тем жизнь полна комизма и только величественна лишь в внутреннем смысле ее, так что поневоле из-за художественных требований принужден был в биографии моего инока коснуться и самых пошловатых сторон, чтоб не повредить художественному реализму. Затем есть несколько поучений инока, на которые прямо закричат, что они абсурдны, ибо слишком восторжены. Конечно, они абсурдны в обыденном смысле, но и в смысле ином, внутреннем, кажется, справедливы. (...)

Н. А. ЛЮВИМОВУ

*Старая Русса 16 сентября 1879.*

(...) Умоляю Вас, Николай Алексеевич, в этой книге ничего не вычеркивать. Да и нечего, все в порядке. Есть одно только словцо (про труп мертвого): *провонял*. Но выговаривает его отец Ферапонт, а он не может говорить иначе, и если бы даже мог сказать: *пропах*, то не скажет, а скажет *проводнял*. Пропустите это ради Христа. Больше ничего нет. Кроме разве про пурганец. Но это написано хорошо и притом оно существенно, как важное обвинение. Последняя глава (которую вышли) «Кана Галилейская» — самая существенная во всей кни-

те, а может быть, и в романе. С этой высылкой кончаю с монастырем: больше в монастыре ничего не будет. (...)

Многоуважаемый Николай Алексеевич, особенно прошу хорошоенько прокорректировать легенду о луковке. Это драгоценность, записана мною со слов одной крестьянки, и уж конечно, записана в первый раз. Я по крайней мере до сих пор никогда не слыхал. (...)

Е. Н. ЛЕВЕДЕВОЙ

Петербург ноября 1879.

(...) Не один только сюжет романа важен для читателя, но и некоторое знание души человеческой, (психологии), чего каждый автор вправе ждать от читателя. (...)

Н. А. ЛЮБИМОВУ

Петербург 1879.

(...) Эта 9-я книга возникла у меня тоже внезапно и неожиданно: дело в том, что первоначально я хотел лишь ограничиться одним судебным следствием, уже на суде. Но советуясь с одним прокурором (большим практиком), увидал вдруг, что целая, чрезвычайно любопытная и чрезвычайно хромающая у нас часть нашего уголовного процесса (большое место нашего уголовного процесса) у меня в романе, таким образом, бесследно исчезнет. Эта часть процесса называется «Предварительным следствием» с старою рутиной и с новейшою отвлеченностью в лице молоденьких правоведов, судебных следователей и проч. А потому, чтоб закончить часть, и напишу еще 9-ю книгу под названием «Предварительное следствие», которую и доставлю Вам в декабре по возможности раньше. К тому же намечу еще сильнее характер Мити Караваева: он очищается сердцем и совестью под грозой несчастья и ложного обвинения. Принимает душой наказание не за то, что он сделал, а за то, что он был так безобразен, что мог и хотел сделать преступление, в котором должно будет обвинен судебной ошибкой. Характер вполне русский: гром не грянет — мужик не перекрестится. Нравственное очищение его начинается уже во время нескольких часов предварительного следствия, на которое и предназначаю эту 9-ю книгу. Мне как автору это очень дорого. (...)

(...) Песня, пропетая хором, записана мною с натуры

и есть действительно образчик новейшего крестьянского творчества.

Н. А. ЛЮБИМОВУ

“Петербург 8 декабря 1879.

⟨...⟩ эта книга выходит одна из важнейших для меня в романе и требует (я вижу это) такой тщательной отделки, что если бы я понатужился и скомкал, то повредил бы себе как писателю и теперь навеки. Да и идея моего романа слишком бы пострадала, а она мне дорога. Роман читают всюду, пишут мне письма, читает молодежь, читают в высшем обществе, в литературе ругают или хвалят, и никогда еще, по произведенному кругом впечатлению, я не имел такого успеха. Вот почему и хочется кончить дело хорошо. ⟨...⟩

Н. А. ЛЮБИМОВУ

Петербург апреля 9 1880.

⟨...⟩ Есть и еще одно маленькое обстоятельство, которое капельку меня смущает: это то, что у меня, в этой книге «Маленькие мальчики», упомянуто о прогимназии. И вот, уже отправив к Вам рукопись, я вдруг сообразил, что у меня эти мои мальчики одеты в партикулярные платья. Я справился здесь у знающих дело, и мне сказали, что 13 лет тому назад (время действия в моем романе) гимназисты имели все-таки какую-то форму, хоть и не теперешнюю. Приготовительные же классы (особенно если дети бедных родителей) могли ходить и в партикулярных платьях. Пальтишки же были какие угодно, равно и фуражки. Но так ли это? И не нужно ли будет что-нибудь изменить насчет платья в корректуре. Если нужно, черкните мне одну строчку сверху 1-го листочка корректуры, и я изменю, что можно. Если же не очень нужно, то сойдет и так. ⟨...⟩

Е. Ф. ЮНГЕ

⟨...⟩ Я знаю, что во мне как в писателе есть много недостатков, потому что я сам, первый, собою всегда недоволен. Можете вообразить, что в иные тяжелые минуты внутреннего отчета я часто с болью сознаю, что не выразил, буквально, и 20-й доли того, что хотел бы, а может быть, и мог бы выразить. Спасает при этом меня лишь всегдашняя надежда, что когда-нибудь пошлет бог настолько вдохновения и силы, что

я выражусь полнее, одним словом, что высажу все, что у меня заключено в сердце и в фантазии. На недавнем здесь диспуте молодого философа Влад(имира) Соловьева (сына историка) на доктора философии я услышал от него одну глубокую фразу: «Человечество, по моему глубокому убеждению (сказал он), знает гораздо более, чем до сих пор успело высказать в своей науке и в своем искусстве». Ну вот так и со мною: я чувствую, что во мне гораздо более скрыто, чем сколько я мог до сих пор выразить как писатель. Но все же, без ложной скромности говоря, я ведь чувствую же, что и в выраженнем уже мною было нечто сказанное от сердца и правдиво. И вот, клянусь Вам, сочувствия встретил я много, может быть, даже более, чем заслуживал, но критика, печатная литературная критика, даже если и хвалила меня (что было редко), говорила обо мне до того легко и поверхностно, что, казалось, совсем не заметила того, что решительно родилось у меня с болью сердца и вылилось правдиво из души. (...)

К. П. ПОБЕДОНОСЦЕНУ

*Старая Русса 19-го мая 1880*

(...) Мою речь о Пушкине я подготовил, и как раз в самом *крайнем* духе моих (...) убеждений, а потому и жду, может быть, некоего поношения. Но не хочу смущаться и не боюсь, а своему делу послужить надо и буду говорить небезбоязненно. (...)

А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

*Москва 27 мая 1880.*

(...) В восстановлении значения Пушкина по всей России все видят средство к новому повороту убеждений, умов, направлений.

А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

*Москва 28/29 мая 1880.*

(...) оставаться здесь я *должен* и решил, что остаюсь. Дело, главное, в том, что во мне нуждаются не одни Любители российской словесности, а вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской

народности, отрицая самую народность. Оппонентами же им, с нашей стороны, лишь Иван Сергеевич Аксаков (Юрьев и прочие не имеют весу), но Иван Аксаков и устарел и приелся Москве. Меня же Москва не слыхала и не видала, но мною только и интересуется. Мой голос будет иметь вес, а стало быть, и наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля битвы. Уж когда Катков сказал: «Вам нельзя уезжать, вы не можете уехать», — человек вовсе не славянофил, — то уж, конечно, мне нельзя ехать.

Ю. Ф. АБАЗА

15 июня 1880 г.

(...) Я однако решаюсь теперь написать Вам мое суждение, хотя и вперед знаю, как оно будет Вам неприятно... Дело в том, что рассказ у Вас введен хорошо и оригинально, хотя слишком уже безыскусственно. А главное, что есть мысль — хорошая и глубокая мысль. Но боже, как Вы ее невозможны провели! Мысль эта, что породы людей, получивших первоначальную идею от своих основателей и подчиняясь ей исключительно в продолжение нескольких поколений, впоследствии должны необходимо выродиться в нечто особливое от человечества, как от целого, и даже, при лучших условиях, в нечто враждебное человечеству, как целому, — мысль эта верна и глубока. . . . .

У Вас та же идея. Но Ваш потомок ужасного и греховного рода изображен невозможно. Надо было дать ему страдание лишь нравственное (...) кончить, сделав из него кого-нибудь в образе Алексея-человека божия или Марии Египетской, победившей кровь свою и род свой страданием неслыханным. А Вы, напротив, выдумываете нечто грубо-физическое, какую-то льдину вместо сердца. Доктора, лечившие его столько лет, не заметили, что у него нет сердца. Да и как может жить человек без физического органа? Пусть это фантастическая сказка, но ведь фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую даму» — верх искусства фантастического. И вы верите, что Герман действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, то есть прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германа или действительно он один из тех, которые сопри-

коснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов. (...) Вот это искусство! Там же, где скимник фабрикует сердце из просвирки с вином,— до того у Вас грубо, что возбуждает даже смех. (Как писатель я должен однако со-знаться, что сцена эта смела и не лишена колорита.) (...)

(...) В заключение же вот мой совет: не оставляйте пре-красной и полезнейшей идеи, разработайте ее снова и переделайте ее, Вашу повесть, радикально, всю, с самого начала. Дайте ей страдание духовное, дайте осмысление своего греха как целого поколения, приставьте хоть и скимника, но непре-менно и женщину — и заставьте его сознательно пойти на страдание за всех предков своих, и за всех и вся, чтобы искупить грех людской. Мысль великая, если б только у Вас достало художественности! А то, что льдинка-то?

Извините за правду. Но ведь правду эту я считаю правдой, а Вы можете со мной не согласиться.

Н. А. ЛЮБИМОВУ

*Старая Русса, 10 августа 1880 г.*

(...) 6-ю, 7-ю и 8-ю главы считаю сам удивившимся. Но не знаю, как Вы посмотрите на 9-ю главу, глубокоуважаемый Николай Алексеевич. Назовете, может быть, слишком характерю! Но право, я не хотел оригинальничать. Долгом считаю однако Вас уведомить, что я давно уже справлялся с мнением докторов (и не одного). Они утверждают, что не только подобные кошмары, но и галлюцинации перед «белой горячкой» возможны. Мой герой, конечно, видит и галлюцинации, но сме-шивает их с своими кошмарами. Тут не только физическая (болезненная) черта, когда человек начинает временами терять различие между реальным и призрачным (что почти с каждым человеком хоть раз в жизни случалось), но и душевная, сов-падающая с характером героя: отрицая реальность призрака, он, когда исчез призрак, стоит за его реальность. *Мучимый безверием, он (бессознательно) желает в то же время, чтобы призрак был не фантазия, а нечто в самом деле.*

Впрочем, что я толкую. Прочтя, увидите все сами, глубоко-уважаемый Николай Алексеевич. Но простите моего черта: это только черт, мелкий черт, а не Сатана с «опаленными крылья-ми». Не думаю, чтоб глава была и слишком скучна, хотя и длинновата. Не думаю тоже, чтобы хоть что-нибудь могло быть нецензурно, кроме разве двух словечек: «истерические взвизги херувимов». Умоляю, пропустите так: это ведь черт говорит, он не может говорить иначе. Если же никак нельзя,

то вместо истерические взвизги — поставьте: радостные крики. Но нельзя ли взвизги? А то будет очень уж прозаично и не в тон.

Не думаю, чтобы что-нибудь из того, что мелет мой черт, было нецензурно. Два же рассказа о исповедальных будочках хотя и легкомысленны, но уже вовсе, кажется, не сальны. То ли иногда врет Мефистофель в обеих частях «Фауста»?

Считаю, что в X-й и последней главе достаточно объяснено душевное состояние Ивана, а стало быть и кошмар 9-й главы. Медицинское же состояние (повторяю опять) проверял у докторов.

Хоть и сам считаю, что эта 9-я глава могла бы и не быть, но писал я ее почему-то с удовольствием и сам отнюдь от нее не отрекаюсь. <...>

М. А. ПОЛИВАНОВОЙ

Старая Русса 16 августа 1880.

<...> Я имею у себя всегда готовую писательскую деятельность, которой предаюсь с увлечением, в которую полагаю все старания мои, все радости и надежды мои, и даю им этой деятельностью исход. <...>

К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ

Старая Русса 16-го августа 1880.

Благодарю Вас от всей души за Ваше добре, прекрасное и ободрившее меня письмо. Именно ободрившее, потому что я, как человек, всегда нуждаюсь в ободрении от тех, которым верю, ум и убеждения которых я глубоко уважаю. Каждый раз, когда я напишу что-нибудь и пущу в печать — я как в лихорадке. Не то чтоб я не верил в то, что сам же написал, но всегда мучит меня вопрос: как это примут, захотят ли понять суть дела и не вышло бы скорее дурного, чем хорошего тем, что я опубликовал мои заветные убеждения? Тем более, что всегда принужден высказывать иные идеи лишь в основной мысли, всегда весьма нуждающейся в большом развитии и доказательности. И вот мнение таких людей, как Вы, — решительно моя поддержка. Значит, не ошибся я во всем, значит, поняли меня те, умом и беспристрастным суждением которых я дорожу, а стало быть, не втуне был и труд мой.

Я Вам откровенно скажу: вот теперь кончако «Карамазовых». Это последняя часть, сам вижу и чувствую, столь ори-

гиальная и не похожа на то, как другие пишут, что решительно не жду одобрения от нашей критики. Публика, читатели — другое дело: они всегда меня поддерживали. <...>

Н. Л. ОЗМИДОВУ

*Старая Русса, 18 августа 1880.*

<...> Вы говорите, что до сих пор не давали читать Вашей дочери что-нибудь литературное, боясь развить фантазию. Мне вот кажется, что это не совсем правильно: фантазия есть природная сила в человеке, тем более во всяком ребенке, у которого она, с самых малых лет, преимущественно перед всеми другими способностями развита и требует утоления. Не давая ей утоления, или умертвишь ее, или обратно, — дашь ей развиться, именно чрезмерно (что и вредно) своими собственными уже силами. Такая же натура лишь истощит духовную сторону ребенка преждевременно. Впечатления же прекрасного именно необходимы в детстве. 10-ти лет от роду я видел в Москве представление «Разбойников» Шиллера с Мочаловым, и, уверяю Вас, это сильнейшее впечатление, которое я вынес тогда, действовало на мою духовную сторону очень плодотворно. 12-ти лет я в деревне, во время вакаций, прочел всего Вальтер Скотта, и пусть я развел в себе фантазию и впечатлительность, но зато я направил ее в хорошую сторону и не направил на дурную, тем более что захватил с собой в жизнь из этого чтения столько прекрасных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе моей большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страшными и растлевающими. Советую и Вам дать Вашей дочери теперь Вальтер Скотта, тем более, что он забыт у нас, русских, совсем, и потом, когда уже будет жить самостоятельно, она уже и не найдет ни возможности, ни потребности сама познакомиться с этим великим писателем; итак, ловите время познакомить ее с ним, пока она еще в родительском доме, Вальтер Скотт же имеет высокое воспитательное значение. Диккенса пусть прочтет всего без исключения. Познакомьте ее с литературой прошлых столетий («Дон-Кихот» и даже «Жиль-Блаз»). Лучше всего начать со стихов. Пушкина она должна прочесть всего, — и стихи и прозу. Гоголя тоже. Тургенев, Гончаров, если хотите; мои сочинения, не думаю чтобы все пригодились ей. Хорошо прочесть всю историю Шлоссера и русскую Соловьеву. Хорошо не обойти Карамзина. Костомарова пока не давайте. «Завоевание Перу, Мексики» Прескотта необходимы. Вообще истори-

ческие сочинения имеют огромное воспитательное значение. Лев Толстой должен быть весь прочтен. Шекспир, Шиллер, Гете, все есть и в русских, очень хороших переводах. Ну, вот этого пока довольно. Сами увидите, что впоследствии, с годами, можно бы еще прибавить! Газетную литературу надо бы, по возможности, устраниТЬ, теперь по крайней мере. Не знаю, останетесь ли Вы довольны моими советами. <...>

О. Ф. МИЛЛЕРУ

*Старая Русса, 26 августа 1880.*

<...> Какая прекрасная мысль — особое торжественное заседание нашего общества на память 500-летия Куликовской битвы. Спасибо Константину Николаевичу<sup>18</sup> за будущую статью. Это именно надо теперь. Надо возрождать впечатление великих событий в нашем интеллигентном обществе, забывшем и оплевавшем нашу историю. Жду непременно, что скажете Ваше слово и Вы. Как бы хорошо было упомянуть хоть вскользь об «ушедшем спать» великом князе (вероятно, от трусости), когда другие бились. Нужно высоко восстановить этот прекрасный образ и затереть бездну мерзких идей, пущенных в ход об нашей истории за последние 25 лет. Как я сожалел, быв г. Москве, что Вас не было; Вы бы превосходно сумели послужить добруму делу Вашим горячим и энергичным словом! За мое же слово в Москве видите как мне досталось от нашей прессы почти сплошь: точно я совершил воровство-мошенничество или подлог в каком-нибудь банке. <...>

И. С. АКСАКОВУ

*Старая Русса 28 августа 1880.*

<...> Никогда еще в моей жизни я не встречал критика столь «искреннего и столь полного участием к моей деятельности, как теперь Вы. Я даже забыл и думать, что есть и что могут быть такие критики. Это не значит, что я с Вами во всем согласен *безусловно*, но вот какой есть, однако же, факт, это то, что я сам нахожусь, во многом, в больших сомнениях, хотя и имел 2 года опыта в издании «Дневника». Именно о том: как говорить, каким тоном говорить и о чем вовсе не говорить? Ваше письмо застало меня в самой глубине этих

сомнений, ибо я серьезно принял намерение продолжать «Дневник» в будущем году, а потому волнуюсь и молю, кого следует, чтоб послал сил и, главное, умения (...).

(...) Кончая «Карамазовых», следственно, подвожу итог произведению, которым я, по крайней мере, дорожу, ибо много в нем легло меня и моего. Я же и вообще-то работаю нервно, с мукой и заботой. Когда я усиленно работаю — то болен даже физически. Теперь же подводится итог тому, что 3 года обдумывалось, составлялось, записывалось. Надо сделать хорошо, то есть по крайней мере сколько я в состоянии. Я работы из-за денег на почтовых — не понимаю. Но пришло время, что все-таки надо кончить и кончить не оттягивая. Верите ли, несмотря, что уже три года записывалось — иную главу напишу да и забракую, вновь напишу. Только вдохновенные места и выходят зараз, залпом, а остальное все претяжелая работа. Вот почему теперь, сейчас, несмотря на *жгучее* желание, не могу написать Вам: дух во мне не тот, да и разбивать себя не хочу. (...)

#### И. С. АКСАКОВУ

С.-Петербург 4 ноября 1880.

(...) Ваш тезис мне о тоне распространения в обществе святых вещей, то есть без исступления и ругательств, не выходит у меня из головы. Ругательств, разумеется, не надо, но возможно ли быть не самим собою, не искренним? Каков я есмь, таким меня и принимайте — вот бы как я смотрел на читателей. Заволакиваться в облака величия (тон Гоголя, например, в «Переписке с друзьями») — есть неискренность, а неискренность даже самый неопытный читатель узнает чутьем. Это первое, что выдает. Ну как отказаться от полемики и иногда горячей? Вам дружески признаюсь, что, предпринимая с будущего года «Дневник» (на днях пускаю объявление), часто и многократно на коленях молился уже богу, чтоб дал мне сердце чистое, слово чистое, безгрешное, нераздражительное, независтливое. Смеясь уже скажу: решено иногда совсем не читать ни нападок, ни возражений в журналах. Кстати, Кошелева статью в «Р(усской) мысли» до сих пор не читал. И не хочу. Известно, что *свои*-то первыми и нападают на своих же. Разве у нас может быть иначе? (...)

И. С. АКСАКОВУ

Петербург, 3 декабря 1880.

(...) не ожидайте — о, не ожидайте,— чтоб Вас поняли. Нынче именно такое время и настроение в умах, что любят сложное, извилистое, проселочное и себе в каждом пункте противоречащее. Аксиома, вроде дважды два — четыре, покажется парадоксом, а извилистое и противоречивое — истиной. Сейчас только прочел в «Новом времени» выписку из «Русской речи», где Градовский учит Вас и читает Вам наставления. «Не архитектуры, дескать, а жизнь». Мертвец проповедует жизнь, и поверьте, что мертвца-то и послушают, а Вас нет.

(...) Все-таки Ваша статья есть уже не слово, а дело. О литературном ее достоинстве и не говорю. Удивительно хорошо. Но повторяю: продолжайте разъяснять Вашу мысль особенно на примерах и указаниях. Посеите зерно,— вырастет дуб. (...)

А. Ф. БЛАГОНРАВОВУ

Петербург, 19-го декабря 1880.

(...) У нас русский, отрицающий народность (а таких много), есть непременно атеист или равнодушный. Обратно, всякий неверующий или равнодушный решительно не может понять и никогда не поймет ни русского народа, ни русской народности. Самый важный теперь вопрос: как заставить с этим согласиться нашу интеллигенцию? Попробуйте заговорить: или съедят, или сочтут за изменника. Но кому изменника? Им — то есть чему-то носящемуся в воздухе и которому даже имя придумать трудно, потому что они сами не в состоянии придумать, как назвать себя? Или народу изменника? Нет, уж я лучше буду с народом: ибо от него только можно ждать чего-нибудь, а не от интеллигенции русской, народ отрицающей, и которая даже не интеллигентна.

Но возрождается и идет новая интеллигенция, та хочет быть "с народом. А первый признак неразрывного общения с народом есть уважение и любовь к тому, что народ всею целостию своей любит и уважает более и выше всего что есть в мире,— то есть своего бога и свою веру.

Эта новогрядущая интеллигенция русская, кажется, именно теперь начинает подымать голову. Именно, кажется, теперь она потребовалась к общему делу, и она это начинает и сама сознавать.

Здесь, за то, что я проповедую бога и народность, из всех сил стараются стереть меня с лица земли. За ту главу «Карамазовых» (о галлюцинации), которую Вы, врач, так довольны, меня пробовали уже было обозвать ретроградом и изувером, дописавшимся «до чертиков». Они наивно воображают, что все так и воскликнут: «Как? Достоевский про черта стал писать? Ах, какой он пошляк, ах, как он неразвит!» Но, кажется, им не удалось! Вас, особенно как врача, благодарю за сообщение Ваше о верности изображенной мною психической болезни этого человека. Мнение эксперта меня поддержит, и согласитесь, что другой этот человек (Ив. Карамазов), при данных обстоятельствах, никакой иной галлюцинации не мог видеть, кроме этой. Я эту главу хочу впоследствии, в будущем «Дневнике», разъяснить сам критически. (...)

Н. А.<sup>19</sup>

Петербург, 19 декабря 1880.

(...) Каких лет Ваш сын — этого Вы не обозначаете. Скажу лишь вообще: берите и давайте лишь то, что производит прекрасное впечатление и рождает высокие мысли. Если ему минуло шестнадцать лет, то пусть прочтет Жуковского, Пушкина, Лермонтова; если он любит поэзию, пусть читает Шиллера, Гете, Шекспира в переводах и в изданиях Гербеля. Тургенева, Островского, Льва Толстого пусть читает непременно, особенно Льва Толстого. (Гоголя, без сомнения, надо дать всего.) Одним словом, все русское классическое. Весьма хорошо, если б он полюбил историю. Пусть читает Соловьева, всемирную историю Шлоссера, отдельные исторические сочинения вроде «Завоевания Мексики, Перу» Прескотта. Наконец, пусть читает Вальтер Скотта и Диккенса в переводах, хотя эти переводы очень трудно достать. Ну вот я Вам написал уже слишком довольно номеров. Если б прочел все это внимательно и скотно, был бы уж и с этими средствами литературно образованным человеком. Если хотите, то можете дать и Белинского. Но других критиков повремените. Если ему менее 16 лет, то дайте эти же самые книги с выбором, руководясь в выборе лишь вопросом: поймет он или не поймет. Что поймет, то и давайте. Диккенса и Вальтер Скотта можно давать уже 13-летним детям.

Над всем, конечно, Евангелие, Новый завет в переводе. Если же может читать и в оригинале (то есть на церковнославянском), то всего бы лучше.